

<http://www.v-mayakovsky.narod.ru/>

Владимир Маяковский

СТИХОТВОРЕНИЯ:

Избранные стихотворения 1893-1930 годов

Стихотворения 1912-1916 годов

Стихотворения 1917-1919 годов

“Окна сатиры Роста” 1919-1920 годов

Стихотворения 1920-1925 годов

Цикл стихотворений “Париж” (1925 год)

Цикл “Стихи об Америке” (1925 год)

Стихотворения 1926 года

Стихотворения 1927 года

Стихотворения 1929-1930 годов

Лозунги 1929-1930 годов

Избранные стихотворения 1893-1930 годов

КО ВСЕМУ

Нет.

Это неправда.

Нет!

И ты?

Любимая,

за что,

за что же?!

Хорошо -

я ходил,

я дарил цветы,

я ж из ящика не выкрал серебряных

ложек!

Белый,

сшатался с пятого этажа.

Ветер щеки ожег.

Улица клубилась, визжа и ржа.

Похотливо взлазил рожок на рожок.

Вознес над суетой столичной одури

строгое -

древних икон -

чело.

На теле твоём - как на смертном одре -

сердце

дни

кончило.

В грубом убийстве не пачкала рук ты.

Ты

уронила только:

“В мягкой постели

он,

фрукты,

вино на ладони ночного столика”.

Любовь!

Только в моем

воспаленном

мозгу была ты!

Глупой комедии остановите ход!

Смотрите -

срываю игрушки-латы

я,

величайший Дон-Кихот!

Помните:

под ношей креста

Христос

секунду

усталый стал.

Толпа орала:

“Марала!

Мааарррааала!”

Правильно!

Каждого,

кто

об отдыхе взмолится,

оплюй в его весеннем дне!

Армии подвижников, обреченным добровольцам

от человека пощады нет!

Довольно!

Теперь - моей языческой силою!-

дайте

любую

красивую,

юную,-

души не растрочу,

изнасилую

и в сердце насмешку плюну ей!

Око за око!

Севы мести в тысячу крат жизни!

В каждое ухо ввой:

вся земля -

каторжник

с наполовину выбритой солнцем головой!

Око за око!

Убьете,
похороните -
выроюсь!
Об камень обточатся зубов ножи еще!
Собакой забьюсь под нары казарм!
Буду,
бешеный,
вгрызаться в ножища,
пахнувшие потом и базаром.

Ночью вскочите!

Я
звал!
Белым быком возрос над землей:
Муууу!
В ярмо замучена шея-язва,
над язвой смерчи мух.

Лосем обернусь,
в провода
впутая голову ветвистую

с налитыми кровью глазами.

Да!

Затравленным зверем над миром выстою.

Не уйти человеку!

Молитва у рта,-

лег на плиты просящ и грязен он.

Я возьму

намалюю

на царские врата

на божьем лице Разина.

Солнце! Лучей не кинь!

Сохните, реки, жажду утолить не дав ему,-

чтоб тысячами рождались мои ученики

трубить с площадей анафему!

И когда,

наконец,

на веков верхи став,

последний выйдет день им,-

в черных душах убийц и анархистов

зажгусь кровавым видением!

Светает.

Все шире разверзается неба рот.

Ночь

пьет за глотком глоток он.

От окон зарево.

От окон жар течет.

От окон густое солнце льется на спящий
город.

Святая месть моя!

Опять

над уличной пылью

ступенями строк ввысь поведи!

До края полное сердце

вылью

в исповеди!

Грядущие люди!

Кто вы?

Вот - я,

весь

боль и ушиб.

Вам завещаю я сад фруктовый

моей великой души.

1916

ОТНОШЕНИЕ

К БАРЫШНЕ

Этот вечер решал -

не в любовники выйти ль нам?-

темно,

никто не увидит нас,

Я наклонился действительно,

и действительно

я,

наклонясь,

сказал ей,

как добрый родитель:

“Страсти крут обрыв -

будьте добры,

отойдите.

Отойдите,

будьте добры”.

1920

РАЗГОВОР

С ТОВАРИЦЕМ ЛЕНИНЫМ

Грудой дел,

суматохой явлений

день отошел,

постепенно стемнев.

Двое в комнате.

Я

и Ленин -

фотографией

на белой стене.

Рот открыт

в напряженной речи,
усов
щетинка
вздернулась ввысь,
в складках лба
зажата
человечья,
в огромный лоб
огромная мысль.
Должно быть,
под ним
проходят тысячи...
Лес флагов...
рук трава...
Я встал со стула,
радостью высвечен,
хочется -
идти,
приветствовать,
рапортовать!
“Товарищ Ленин,

я вам докладываю

не по службе,

а по душе.

Товарищ Ленин,

работа адская

будет

сделана

и делается уже.

Освещаем, одеваем нищ и оголь,

ширится

добыча

угля и руды...

А рядом с этим,

конечно,

много,

много

разной

дряни и ерунды.

Устаешь

отбиваться и отгрызаться.

Многие

без вас

отбились от рук.

Очень

много

разных мерзавцев

ходят

по нашей земле

и вокруг.

Нету

им

ни числа,

ни клички,

целая

лента типов

тянется.

Кулаки

и волокитчики,

подхалимы,

сектанты

и пьяницы,-

ходят,

гордо

выпятив груди,

в ручках сплошь

и в значках нагрудных...

Мы их

всех,

конечно, скрутим,

но всех

скрутить

ужасно трудно.

Товарищ Ленин,

по фабрикам дымным.

по землям,

покрытым

и снегом

вашим,

товарищ,

сердцем

и именем

думаем,

дышим,

боремся

и живем!..”

Грудой дел,

суматохой явлений

день отошел,

постепенно стемнев.

Двое в комнате.

Я

и Ленин -

фотографией

на белой стене.

1929

СЕБЕ, ЛЮБИМОМУ,

ПОСВЯЩАЕТ

ЭТИ СТРОКИ АВТОР

Четыре.

Тяжелые, как удар.

“Кесарево кесарю - богу богово”.

А такому,

как я,

ткнуться куда?

Где для меня уготовано логово?

Если б был я

маленький,

как Великий океан,-

на цыпочки б волн встал,

приливом ласкался к луне бы.

Где любимую найти мне,

такую, как и я?

Такая не уместилась бы в крохотное

небо!

О, если б я нищ был!

Как миллиардер!

Что деньги душе?

Ненасытный вор в ней.

Моих желаний разнузданной орде
не хватит золота всех Калифорний.

Если б быть мне косноязычным,

как Дант

или Петрарка!

Душу к одной зажечь!

Стихами велеть истлеть ей!

И слова

и любовь моя -

триумфальная арка:

пышно,

бесследно пройдут сквозь нее

любовницы всех столетий.

О, если б был я

тихий,

как гром,-

ныл бы,

дрождью объял бы земли одряхлевший

скит.

Я

если всей его мощью

выреву голос огромный -

кометы заломят горящие руки,

бросятся вниз с тоски.

Я бы глаз лучами грыз ночи -

о, если б был я

тусклый,

как солнце!

Очень мне надо

Сияньем моим поить

Земли отощавшее лонце!

Пройду,

любовищу мою волоча.

В какой ночи,

бредовой,

недужной,

какими Голиафами я зачат -
такой большой
и такой ненужный?

1916

*

Уже второй. Должно быть, ты легла.
В ночи Млечпуть серебряной Окою.
Я не спешу, и молниями телеграмм
мне незачем тебя будить и беспокоить.
Как говорят, инцидент исперчен.
Любовная лодка разбилась о быт.
С тобой мы в расчете. И не к чему перечень
взаимных болей, бед и обид.
Ты посмотри, какая в мире тишь.
Ночь обложила небо звездной данью.
В такие вот часы встаешь и говоришь
векам, истории и мирозданию.

1930

Стихотворения 1912 - 1916 годов

НОЧЬ

Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зеленый бросали горстями дукаты,
а черным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие желтые карты.

Бульварам и площади было не странно
увидеть на зданиях синие тоги.
И раньше бегущим, как желтые раны,
огни обручали браслетами ноги.

Толпа - пестрошерстая быстрая кошка -
плыла, изгибаясь, дверями влекома;
каждый хотел протащить хоть немножко
громаду из смеха отлитого кома.

Я, чувствуя платья зовущие лапы,
в глаза им улыбку протиснул; пугая
ударами в жезл, хохотали арапы,
над лбом расцветивши крыло попугая.

1912

УТРО

Угрюмый дождь скосил глаза.

А за

решеткой

четкой

железной мысли проводов -

перина.

И на

нее

встающих звезд

легко оперлись ноги

Но ги-

бель фонарей,

царей

в короне газа,

для глаза

сделала больней

враждующий букет бульварных проституток.

И жуток

шуток

клюющий смех -

из желтых

ядовитых роз

возрос

зигзагом.

За гам

и жуть

взглянуть

отрадно глазу:

раба

крестов

страдающе-спокойно-безразличных,

гроба

домов

публичных

восток бросал в одну пылающую вазу.

1912

ПОРТ

Простыни вод под брюхом были.

Их рвал на волны белый зуб.

Был вой трубы - как будто лили

любовь и похоть медью труб.

Прижались лодки в люльках входов

к сосцам железных матерей.

В ушах оглохших пароходов

горели серьги якорей.

1912

ИЗ УЛИЦЫ В УЛИЦУ

У-

лица.

Лица

у

догов

годов

рез-

че.

Че-

рез

железных коней

с окон бегущих домов

прыгнули первые кубы.

Лебеди шей колокольных,

гнитесь в силках проводов!

В небе жирафий рисунок готов

выпестрить ржавые чубы.

Пестр, как форель,

сын

безузорной пашни.

Фокусник

рельсы

тянет из пасти трамвая,
скрыт циферблатами башни.

Мы завоеваны!

Ванны.

Души.

Лифт.

Лиф души расстегнули.

Тело жгут руки.

Кричи, не кричи:

“Я не хотела!” -

резок

жгут

муки.

Ветер колючий

трубе

вырывает

дымчатой шерсти клок.

Лысый фонарь

сладожестно снимает

с улицы

черный чулок.

1913

А ВЫ МОГЛИ БЫ?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.

На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.

А вы

ноктюрн сыграть

могли бы

на флейте водосточных труб?

1913

ВЫВЕСКАМ

Читайте железные книги!

Под флейту золоченой буквы
полезут копченые сиги
и золотокудрые брюквы.

А если веселостью песей
закружат созвездия “Магги” -
бюро похоронных процессий
свои проведут саркофаги.

Когда же, хмур и плачевен,
загасит фонарные знаки,
влюбляйтесь под небом харчевен
в фаянсовых чайников маки!

1913

Я

1

По мостовой

моей души изъезженной

шаги помешанных

вьют жестких фраз пяты.

Где города

повешены

и в петле облака

застыли

башен

кривые выи -

иду

один рыдать,

что перекрестком

распяты

городовые.

2

Несколько слов о моей жене

Морей неведомых далеким пляжем

идет луна -

жена моя.

Моя любовница рыжеволосая.

За экипажем

крикливо тянется толпа созвездий пестрополосая.

Венчается автомобильным гаражом,

целуется газетными киосками,

а шлейфа млечный путь моргающим пажем

украшен мишурными блестками.

А я?

Несло же, палимому, бровей коромысло

из глаз колодцев студеные ведра.

В шелках озерных ты висла,

янтарной скрипкой пели бедра?

В края, где злоба крыш,

не кинешь блесткой лесни.

В бульварах я тону, тоской песков оваян:

ведь это ж дочь твоя -

моя песня

в чулке ажурном

у кофеен!

Несколько слов о моей маме

У меня есть мама на васильковых обоях.

А я гуляю в пестрых павах,

вихрастые ромашки, шагом меряя, мучу.

Заиграет вечер на гобоях ржавых,

подхожу к окошку,

веря,

что увижу опять

севшую

на дом

тучу.

А у мамы больной

пробегают народа шорохи

от кровати до угла пустого.

Мама знает-

это мысли сумасшедшей ворохи

вылезают из-за крыш завода Шустова.

И когда мой лоб, венчанный шляпой фетровой,

окровавит гаснущая рама,

я скажу,

раздвинув басом ветра вой:

“Мама.

Если станет жалко мне

вазы вашей муки,

сбитой каблуками облачного танца,-

кто же изласкает золотые руки,

вывеской заломленные у витрин Аванцо?..”

4

Несколько слов обо мне самом

Я люблю смотреть, как умирают дети.

Вы прибою смеха мгlistый вал заметили

за тоски хоботом?

А я -

в читальне улиц -

так часто перелистывал гроба том.

Полночь

промокшими пальцами щупала

меня

и забитый забор,

и с каплями ливня на лысине купола

скакал сумасшедший собор.

Я вижу, Христос из иконы бежал,

хитона оветренный край

целовала, плача, слякоть.

Кричу кирпичу,

слов исступленных вонзаю кинжал

в неба распухшего мякоть:

“Солнце!

Отец мой!

Сжался хоть ты и не мучай!

Это тобою пролитая кровь моя льется дорогою дольней.

Это душа моя

ключьями порванной тучи

в выжженном небе

на ржавом кресте колокольни!

Время!

Хоть ты, хромой богомаз,

лик намалой мой
в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!”

1913

ОТ УСТАЛОСТИ

Земля!

Дай исцелю твою лысеющую голову
лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот.

Дымом волос над пожарами глаз из олова
дай обовью я впалые груди болот.

Ты! Нас - двое,

ораненных, загнанных ланями,

вздыбилось ржанье оседланных смертью коней,

Дым из-за дома догонит нас длинными дланями,
мутью озлобив глаза догнивающих в ливнях огней.

Сестра моя!

В богадельнях идущих веков,

может быть, мать мне сыщется;
бросил я ей окровавленный песнями рог.
Квакая, скачет по полю
канава, зеленая сыщица,
нас заневолить
веревками грязных дорог.

1913

АДИЩЕ ГОРОДА

Адище города окна разбили
на крохотные, сосущие светами адки.
Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,
над самым ухом взрывая гудки.

А там, под вывеской, где сельди из Керчи -
сбитый старикашка шарил очки
и заплакал, когда в вечереющем смерче
трамвай с разбега взметнул зрачки.

В дырах небоскребов, где горела руда
и железо поездов громоздило лаз -
крикнул аэроплан и упал туда,
где у раненого солнца вытекал глаз.

И тогда уже - скомкав фонарей одеяла -
ночь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна.

1913

НАТЕ!

Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я - бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста

где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озверев, будет тереться,
ощетинит ножки стоглавая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется - и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я - бесценных слов транжир и мот.

1913

НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ

Вошел к парикмахеру, сказал - спокойный:
“Будьте добры, причешите мне уши”.

Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,
лицо вытянулось, как у груши.

“Сумасшедший!

Рыжий!” -

запрыгали слова.

Ругань металась от писка до писка,

и до-о-о-о-лго

хихикала чья-то голова,

выдергиваясь из толпы, как старая редиска.

1913

КОФТА ФАТА

Я сошью себе черные штаны

из бархата голоса моего.

Желтую кофту из трех аршин заката.

По Невскому мира, по лощеным волосам его,

профланирую шагом Дон-Жуана и фата.

Пусть земля кричит, в покое обабившись:

“Ты зеленые весны идешь насиловать!”

Я брошу солнцу, нагло ослабившись:

“На глади асфальта мне хорошо грассировать!”

Не потому ли, что небо голубо,

а земля мне любовница в этой праздничной чистке,

я дарю вам стихи, веселые, как би-ба-бо,

и острые и нужные, как зубочистки!

Женщины, любящие мое мясо, и эта

девушка, смотрящая на меня, как на брата,

закидайте улыбками меня, поэта,-

я цветами нашью их мне на кофту фата!

1914

ПОСЛУШАЙТЕ!

Послушайте!

Ведь, если звезды зажигают -

значит - это кому-нибудь нужно?

Значит - кто-то хочет, чтобы они были?

Значит - кто-то называет эти плевочки

жемчужиной?

И, надрываясь

в метелях полуденной пыли,

врывается к богу,

боится, что опоздал,

плачет,

целует ему жилистую руку,

просит -

чтоб обязательно была звезда! -

клянется -

не перенесет эту беззвездную муку!

А после

ходит тревожный,

но спокойный наружно.

Говорит кому-то:

“Ведь теперь тебе ничего?

Не страшно?

Да?!”

Послушайте!

Ведь, если звезды
зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - это необходимо,
чтобы каждый Вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

1914

А ВСЕ-ТАКИ

Улица провалилась, как нос сифилитика.
Река - сладострастье, растекшееся в слюни.
Отбросив белье до последнего листика,
сады похабно развалились в июне.

Я вышел на площадь,
выжженный квартал
надел на голову, как рыжий парик.
Людям страшно - у меня изо рта

шевелит ногами непрожеванный крик.

Но меня не осудят, но меня не облают,
как пророку, цветами устелят мне след.

Все эти, провалившиеся носами, знают:

я - ваш поэт.

Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!

Меня одного сквозь горящие здания
проститутки, как святыню, на руках понесут
и покажут богу в свое оправдание.

И бог заплачет над моею книжкой!

Не слова - судороги, слипшиеся комом;
и побежит по небу с моими стихами под мышкой
и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.

1914

ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА

“Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!

Италия! Германия! Австрия!”

И на площадь, мрачно очерченную чернью,
багровой крови пролилась струя!

Морду в кровь разбила кофейня,
зверьим криком багрима:

“Отравим кровью игры Рейна!

Громами ядер на мрамор Рима!”

С неба, изодранного о штыков жала,
слезы звезд просеивались, как мука в сите,
и подошвами сжатая жалость визжала:

“Ах, пустите, пустите, пустите!”

Бронзовые генералы на граненом цоколе
молили: “Раскуйте, и мы поедем!”

Прощающейся конницы поцелуи цокали,
и пехоте хотелось к убийце - победе.

Громоздящемуся городу уродился во сне

хохочущий голос пушечного баса,
а с запада падает красный снег
сочными клочьями человеческого мяса.

Вздувается у площади за ротон рта,
у злящейся на лбу вздуваются вены.
“Постойте, шашки о шелк кокоток
вытрем, вытрем в бульварах Вены!”

Газетчики надрывались: “Купите вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!”
А из ночи, мрачно очерченной чернью,
багровой крови лилась и лилась струя.

20 июля 1914 г.

МАМА И УБИТЫЙ НЕМЦАМИ ВЕЧЕР

По черным улицам белые матери
судорожно простерлись, как по гробу газет.
Вплакались в орущих о побитом неприятеле:

“Ах, закройте, закройте глаза газет!”

Письмо.

Мама, громче!

Дым.

Дым.

Дым еще!

Что вы мямлите, мама, мне?

Видите -

весь воздух вымощен

громыхающим под ядрами камнем!

Ма-а-а-ма!

Сейчас притащили израненный вечер.

Крепился долго,

кургузый,

шершавый,

и вдруг,-

надломивши тучные плечи,

расплакался, бедный, на шее Варшавы

Звезды в платочках из синего ситца

визжали:

“Убит,

дорогой,

дорогой мой!”

И глаз новолунья страшно косится

на мертвый кулак с зажатой обоймой.

Сбежались смотреть литовские села,

как, поцелуем в обрубок вкована,

слезя золотые глаза костелов,

пальцы улиц ломала Ковна.

А вечер кричит,

безногий,

безрукий:

“Неправда,

я еще могу-с -

хе! -

выбрыцав шпоры в горячей мазурке,

выкрутить русский ус!”

Звонок.

Что вы,
мама?
Белая, белая, как на гробе газет.
“Оставьте!
О нем это,
об убитом, телеграмма.
Ах, закройте,
закройте глаза газет!”

1914

СКРИПКА И НЕМНОЖКО НЕРВНО

Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
“Хорошо, хорошо, хорошо!”
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий

и ушел.

Оркестр чужо смотрел, как

выплакивалась скрипка

без слов,

без такта,

и только где-то

глупая тарелка

вылязгивала:

“Что это?”

“Как это?”

А когда геликон -

меднорожий,

потный,

крикнул:

“Дура,

плакса,

вытри!” -

я встал,

шатаясь полез через ноты,

сгибающиеся под ужасом пюпитры

зачем-то крикнул:

“Боже!”,

бросился на деревянную шею:

“Знаете что, скрипка?

Мы ужасно похожи:

я вот тоже

ору -

а доказать ничего не умею!”

Музыканты смеются:

“Влип как!

Пришел к деревянной невесте!

Голова!”

А мне - наплевать!

Я - хороший.

“Знаете что, скрипка?

Давайте -

будем жить вместе!

А?”

1914

Я И НАПОЛЕОН

Я живу на Большой Пресне,

36, 24.

Место спокойненькое.

Тихонькое.

Ну?

Кажется - какое мне дело,

что где-то

в буре-мире

взяли и выдумали войну?

Ночь пришла.

Хорошая.

Вкрадчивая.

И чего это барышни некоторые

дрожат, пугливо поворачивая

глаза громадные, как прожекторы?

Уличные толпы к небесной влаге

припали горящими устами,

а город, вытрепав ручонки-флаги,

молится и мелится красными крестами.

Простоволосая церковка бульварному изголовью

припала,-набитый слезами куль,-

а у бульвара цветники истекают кровью,

как сердце, изодранное пальцами пуль.

Тревога жиреет и жиреет,

жрет зачерствевший разум.

Уже у Ноева оранжереи

покрылись смертельно-бледным газом!

Скажите Москве -

пускай удержится!

Не надо!

Пусть не трясется!

Через секунду

встречу я

неб самодержца,-

возьму и убью солнце!

Видите!

Флаги по небу полощут.

Вот он!

Жирен и рыж.

Красным копытом грохнув о площадь,

въезжает по трупам крыш!

Тебе,

орущему:

“Разрушу,

разрушу!”,

вырезавшему ночь из окровавленных карнизов,

я,

сохранивший бесстрашную душу,

бросаю вызов!

Идите, изъеденные бессонницей,

сложите в костер лица!

Все равно!

Это нам последнее солнце -

солнце Аустерлица!

Идите, сумасшедшие, из России, Польши.

Сегодня я - Наполеон!

Я полководец и больше.

Сравните:

я и - он!

Он раз чуме приблизился троном,
смелостью смерть поправ,-
я каждый день иду к зачумленным
по тысячам русских Яфф!

Он раз, не дрогнув, стал под пули
и славится столетий сто,-
а я прошел в одном лишь июле
тысячу Аркольских мостов!

Мой крик в граните времени выбит,
и будет греметь и гремит,
оттого, что
в сердце, выжженном, как Египет,
есть тысяча тысяч пирамид!

За мной, изъеденные бессонницей!

Выше!

В костер лица!

Здравствуй,

мое предсмертное солнце,

солнце Аустерлица!

Люди!

Будет!

На солнце!

Прямо!

Солнце съежится аж!

Громче из сжатого горла храма

хрипи, похоронный марш!

Люди!

Когда канонизируете имена

погибших,

меня известней.-

помните:

еще одного убила война -

поэта с Большой Пресни!

1915

ВАМ!

Вам, проживающим за оргией оргию,

имеющим ванную и теплый клозет!

Как вам не стыдно о представленных к Георгию

вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как,-
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..

Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваеете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!

Я лучше в баре блядям буду
подавать ананасную воду!

ГИМН СУДЬЕ

По Красному морю плывут каторжане,
трудом выгребая галеру,
рыком покрыв кандальное ржанье,
орут о родине Перу.

О рае Перу орут перуанцы,
где птицы, танцы, бабы
и где над венцами цветов померанца
были до небес баобабы.

Банан, ананасы! Радостей груды!
Вино в запечатанной посуде...
Но вот неизвестно зачем и откуда
на Перу наперли судьи!

И птиц, и танцы, и их перуанок
кругом обложили статьями.
Глаза у судьи - пара жестянок
мерцает в помойной яме.

Попал павлин оранжево-синий
под глаз его строгий, как пост,-
и вылинял моментально павлиний
великолепный хвост!

А возле Перу летали по прерии
птички такие-колибри;
судья поймал и пух и перья
бедной колибри выбрил.

И нет ни в одной долине ныне
гор, вулканом горящих.
Судья написал на каждой долине:
“Долина для некурящих”.

В бедном Перу стихи мои даже
в запрете под страхом пыток.
Судья сказал: “Те, что в продаже,
тоже спиртной напиток”.

Экватор дрожит от кандалных звонов.

А в Перу бесптичье, безлюдье...

Лишь, злобно забившись под своды законов,
живут унылые судьи.

А знаете, все-таки жаль перуанца.

Зря ему дали галеру.

Судьи мешают и птице, и танцу,
и мне, и вам, и Перу.

1915

ГИМН УЧЕНОМУ

Народонаселение всей империи -
люди, птицы, сороконожки,
ощетинив щетину, выперев перья,
с отчаянным любопытством висят на окошке.

И солнце интересуется, и апрель еще,
даже заинтересовало трубочиста черного

удивительное, необыкновенное зрелище -
фигура знаменитого ученого.

Смотрят: и ни одного человеческого качества.

Не человек, а двуногое бессилие,
с головой, откусанной начисто
трактатом “О бородавках в Бразилии”.

Вгрызлись в букву едящие глаза,-
ах, как букву жалко!

Так, должно быть, жевал вымирающий ихтиозавр
случайно попавшую в челюсти фиалку.

Искривился позвоночник, как оглоблей ударенный,
но ученому ли думать о пустяковом изъяне?

Он знает отлично написанное у Дарвина,
что мы - лишь потомки обезьяньи.

Просочится солнце в крохотную щелку,
как маленькая гноящаяся ранка,
и спрячется на пыльную полку,

где громоздится на банке банка.

Сердце девушки, вываренное в иоде.

Окаменелый обломок позапрошлого лета.

И еще на булавке что-то вроде

засушенного хвоста небольшой кометы.

Сидит все ночи. Солнце из-за домишки

опять ослабилось на людские безобразия,

и внизу по тротуарам опять пригостишки

деятельно ходят в гимназии.

Проходят красноухие, а ему не нудно,

что растет человек глуп и покорен;

ведь зато он может ежесекундно

извлекать квадратный корень.

1915

ВОЕННО-МОРСКАЯ ЛЮБОВЬ

По морям, играя, носится
с миноносцем миноносица.

Льнет, как будто к меду осочка,
к миноносцу миноносочка.

И конца б не довелось ему,
благодарностью миноносью.

Вдруг прожектор, вздев на нос очки,
впился в спину миноносочки.

Как взревет медноголосина:
“Р-р-р-астакая миноносина!”

Прямо ль, влево ль, вправо ль бросится,
а сбежала миноносица.

Но ударить удалось ему
по ребру по миноносью.

Плач и вой морями носится:

овдовела миноносица.

И чего это несносен нам

мир в семействе миноносином?

1915

ГИМН ЗДОРОВЬЮ

Среди тонконогих, жидких кровью,
трудом поворачивая шею бычью,
на сытый праздник тучному здоровью
людей из мяса я зычно кличу!

Чтоб бешеной пляской землю овить,
скучную, как банка консервов,
давайте весенних бабочек ловить
сетью ненужных нервов!

И по камням острым, как глаза ораторов,
красавцы-отцы здоровых томов,
потацим мордами умных психиатров
и бросим за решетки сумасшедших домов!

А сами сквозь город, иссохший как Онания,
с толпой фонарей желтолицых, как скопцы,
голодным самкам накормим желания,
поросшие шерстью красавцы-самцы!

1915

ГИМН КРИТИКУ

От страсти извозчика и разговорчивой прачки
невзрачный детеныш в результате вытек.

Мальчик - не мусор, не вывезешь на тачке.

Мать поплакала и назвала его: критик.

Отец, в разговорах вспоминая родословные,
любил поспорить о правах материнства.

Такое воспитание, светское и салонное,
оберегало мальчика от уклона в свинство.

Как роется дворником к кухарке сапа,
щебетала мамаша и кальсоны мыла;
от мамашаи мальчик унаследовал запах
и способность вникать легко и без мыла.

Когда он вырос приблизительно с полено
и веснушки рассыпались, как рыжики на блюде,
его изящным ударом колена
провели на улицу, чтобы вышел в люди.

Много ль человеку нужно? - Клочок -
небольшие штаны и что-нибудь из хлеба.
Он носом, хорошеньким, как построчный пяточок,
обнюхал приятное газетное небо.

И какой-то обладатель какого-то имени
нежнейший в двери услышал стук.

И скоро критик из имениного вымени

выдоил и брюки, и булку, и галстук.

Легко смотреть ему, обутому и одетому,
молодых искателей изысканные игры
и думать: хорошо-ну, хотя бы этому
потрогать зубенками шальные икры.

Но если просочится в газетной сети
о том, как велик был Пушкин или Дант,
кажется, будто разлагается в газете
громадный и жирный официант.

И когда вы, наконец, в столетний юбилей
продерете глазки в кадильной гари,
имя его первое, голубицы белей,
чисто засияет на поднесенном портсигаре.

Писатели, нас много. Собирайте миллион.

И богадельню критикам построим в Ницце.

Вы думаете - легко им наше белье

ежедневно прополаскивать в газетной странице!

1915

ГИМН ОБЕДУ

Слава вам, идущие обедать миллионы!

И уже успевшие наесться тысячи!

Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны
и тысячи блюдищ всяческой пищи.

Если ударами ядр

тысячи Реймсов разбить удалось бы -
по-прежнему будут ножки у пулярд,
и дышать по-прежнему будет ростбиф!

Желудок в панаме! Тебя ль заразят
величием смерти для новой эры?!

Желудку ничем болеть нельзя,
кроме аппендицита и холеры!

Пусть в зале совсем потонут зрочки -

все равно их зря отец твой выделал;
на слепую кишку хоть надень очки,
кишка все равно ничего б не видела.

Ты так не хуже! Наоборот,
если б рот один, без глаз, без затылка -
сразу могла б поместиться в рот
целая фаршированная тыква.

Лежи спокойно, безглазый, безухий,
с куском пирога в руке,
а дети твои у тебя на брюхе
будут играть в крокет.

Спи, не тревожась картиной крови
и тем, что пожаром мир опоясан,-
молоком богаты силы коровьи,
и безмерно богатство бычьего мяса.

Если взрежется последняя шея бычья
и знак последний с камня серого,

ты, верный раб твоего обычая,
из звезд сфабрикуешь консервы.

А если умрешь от котлет и бульонов,
на памятнике прикажем высечь:
“Из стольких-то и стольких-то котлет миллионов -
твоих четыреста тысяч”.

1915

ВОТ ТАК Я И СДЕЛАЛСЯ СОБАКОЙ

Ну, это совершенно невыносимо!

Весь как есть искусан злобой.

Злюсь не так, как могли бы вы:

как собака лицо луны гололобой -

взял бы

и все обвыл.

Нервы, должно быть...

Выйду,

погуляю.

И на улице не успокоился ни на ком я.

Какая-то прокричала про добрый вечер.

Надо ответить:

она - знакомая.

Хочу.

Чувствую -

не могу по-человечьи.

Что это за безобразие!

Сплю я, что ли?

Ощупал себя:

такой же, как был,

лицо такое же, к какому привык.

Тронул губу,

а у меня из-под губы -

клык.

Скорее закрыл лицо, как будто сморкаюсь.

Бросился к дому, шаги удвоив.

Бережно огибаю полицейский пост,

вдруг оглушительное:

“Городовой!

Хвост!”

Провел рукой и - остолбенел!

Этого-то,

всяких клыков почище,

я и не заметил в бешеном скачке:

у меня из-под пиджака

развеерился хвостище

и вьется сзади,

большой, собачий.

Что теперь?

Один заорал, толпу растя.

Второму прибавился третий, четвертый.

Смяли старушонку.

Она, крестясь, что-то кричала про черта.

И когда, ощетинив в лицо усища-веники,

толпа навалилась,

огромная,
злая,
я стал на четвереньки
и залаял:
Гав! гав! гав!

1915

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ НЕЛЕПОСТИ

Бросьте!
Конечно, это не смерть.
Чего ей ради ходить по крепости?
Как вам не стыдно верить
нелепости?!

Просто именинник устроил карнавал,
выдумал для шума стрельбу и тир,
а сам, по-жабьи присев на вал,
вымаргивается, как из мортир.
Ласков хозяина бас,

просто - похож на пушечный.

И не от газа маска,

а ради шутки игрушечной.

Смотрите!

Небо мерить

выбежала ракета.

Разве так красиво смерть

бежала б в небе паркета!

Ах, не говорите:

“Кровь из раны”.

Это-дико!

Просто избранных из бранных

одаривали гвоздикой.

Как же иначе?

Мозг не хочет понять

и не может:

у пушечных шей

если не целоваться,

то - для чего же

обвиты руки траншей?

Никто не убит!

Просто - не выстоял.
Лег от Сены до Рейна.
Оттого что цветет,
одуряет желтолистая
на клумбах из убитых гангрена.
Не убиты,
нет же,
нет!
Все они встанут
просто -
вот так,
вернутся
и, улыбаясь, расскажут жене,
какой хозяин весельчак и чудак.
Скажут: не было ни ядр, ни фугасов
и, конечно же, не было крепости!
Просто именинник выдумал массу
каких-то великолепных нелепостей!

ГИМН ВЗЯТКЕ

Пришли и славословим покорненько
тебя, дорогая взятка,
все здесь, от младшего дворника
до того, кто в золото заткан.

Всех, кто за нашей десницей
посмеет с укором глаза весть,
мы так, как им и не снится,
накажем мерзавцев за зависть.

Чтоб больше не смела вздыматься хула,
наденем мундиры и медали
и, выдвинув вперед убедительный кулак,
спросим: “А это видали?”

Если сверху смотреть - разинешь рот.
И взыграет от радости каждая мышца.
Россия - сверху - прямо огород,
вся наливается, цветет и пышится.

А разве видано где-нибудь, чтоб стояла коза
и лезть в огород козе лень?..
Было бы время, я б доказал,
которые - коза и зелень.

И нечего доказывать - идите и берите.
Умолкнет газетная нечисть ведь.
Как баранов, надо стричь и брить их.
Чего стесняться в своем отечестве?

1915

ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЗЯТОЧНИКАМ

Неужели и о взятках писать поэтам!
Дорогие, нам некогда. Нельзя так.
Вы, которые взяточники,
хотя бы поэтому,
не надо, не берите взяток.
Я, выколачивающий из строчек штаны,-

конечно, как начинающий, не очень часто,
я-еще и российский гражданин,
беззаветно чтущий и чиновника и участок.

Прихожу и выплакиваю все мои просьбы,
приникши щекою к светлому кителю.

Думает чиновник: “Эх, удалось бы!
Этак на двести птичку вытелю”.

Сколько раз под сень чиновник,
приносил обиды им.

“Эх, удалось бы,- думает чиновник,-
этак на триста бабочку выдоим”.

Я знаю, надо и двести и триста вам -
возьмут, все равно, не те, так эти;
и руганью ни одного не обижу пристава:
может быть, у пристава дети.

Но лишний труд - доить поодиночно,
вы и так ведете в работе года.

Вот что я выдумал для вас нарочно -
Господа!

Взломайте шкапы, сундуки и ларчики,
берите деньги и драгоценности мамашины,

чтоб последний мальчонка в потненьком кулачке
заял сбереженный рубль бумажный.

Костюмы соберите. Чтоб не было рваных.

Мамаша! Вытряхивайтесь из шубы беличьей!

У старых брюк обшарьте карманы -
в карманах копеек на сорок мелочи.

Все это узлами уложим и свяжем,
а сами, без денег и платья,
придем, поклонимся и скажем:

Нате!

Что нам деньги, транжирам и мотам!

Мы даже не знаем, куда нам деть их.

Берите, милые, берите, чего там!

Вы наши отцы, а мы ваши дети.

От холода не попадая зубом на зуб,
станем голые под голые небеса.

Берите, милые! Но только сразу,

Чтоб об этом больше никогда не писать.

ЧУДОВИЩНЫЕ ПОХОРОНЫ

Мрачные до черного вышли люди,
тяжко и чинно выстроились в городе,
будто сейчас набираться будет
хмурых монахов черный орден.

Траур воронов, выкаймленный под окна,
небо, в бурю крашеное,-
все было так подобрано и подогнано,
что волей-неволей ждалось страшное.

Тогда разверзлась, кряхтя и нехотя,
пыльного воздуха сухая охра,
вылез из воздуха и начал ехать
тихий катафалк чудовищных похорон.

Встревоженная ожила глаз масса,
гору взоров в гроб бросили.
Вдруг из гроба прыснула гримаса,
после -

крик: “Хоронят умерший смех!” -
из тысячегрудного меха
гремел омиллионенный множеством эх
за гробом, который ехал.

И тотчас же отчаяннейшего плача ножи
врезались, заставив ничего не понимать.
Вот за гробом, в плаче, старуха-жизнь,-
усопшего смеха седая мать.

К кому же, к кому вернуться назад ей?
Смотрите: в лысине - тот -
это большой, носатый
плачет армянский анекдот.

Еще не забылось, как выкривил рот он,
а за ним ободранная, куцая,
визжа, бежала острота.

Куда - если умер - уткнуться ей?

Уже до неба плачей глыба.

Но еще,

еще откуда-то плачики -

это целые полчища улыбочек и улыбок

ломали в горе хрупкие пальчики.

И вот сквозь строй их, смокших в один

сплошной изрыдавшийся Гаршин,

вышел ужас - вперед пойти -

весь в похоронном марше.

Размокло лицо, стало - каша,

смятая морщинками на выхмуренном лбу,

а если кто смеется - кажется,

что ему разодрали губу.

1915

Эй!

Мокрая, будто ее облизали,

толпа.

Прокисший воздух плесенью веет.

Эй!

Россия,

нельзя ли

чего поновее?

Блажен, кто хоть раз смог,

хотя бы закрыв глаза,

забыть вас,

ненужных, как насморк,

и трезвых,

как нарзан.

Вы все такие скучные, точно

во всей вселенной нету Капри.

А Капри есть.

От сияний цветочных

весь остров, как женщина в розовом капоре.

Помчим поезда к берегам, а берег

забудем, качая тела в парходах.

Наоткрываем десятки Америк.

В неведомых полюсах вынежим отдых.

Смотри, какой ты ловкий,

а я -

вон у меня рука груба как.

Быть может, в турнирах,

быть может, в боях

я был бы самый искусный рубака.

Как весело, сделав удачный удар,

смотреть, растопырил ноги как.

И вот врага, где предки,

туда

отправила шпаги логика.

А после в огне раззолоченных зал,

забыв привычку спанья,

всю ночь напролет провести,

глаза

уткнув в желтоглазый коньяк.

И, наконец, оцетинясь, как еж,
с похмелья придя поутру,
неверной любимой грозить, что убьешь
и в море выбросишь труп.

Сорвем ерунду пиджаков и манжет,
крахмальные груди раскрасим под панцирь,
загнем рукоять на столовом ноже,
и будем все хоть на день, да испанцы.

Чтоб все, забыв свой северный ум,
любились, дрались, волновались.

Эй!

Человек,

землю саму

зови на вальс!

Возьми и небо заново вышей,
новые звезды придумай и выставь,

чтоб, исступленно царапая крыши,
в небо карабкались души артистов.

1916

ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА

Женщину ль опутываю в трогательный роман,
просто на прохожего гляжу ли -
каждый опасливо придерживает карман.

Смешные!

С нищих -

что с них сжулить?

Сколько лет пройдет, узнают пока -
кандидат на сажень городского морга -

я

бесконечно больше богат,
чем любой Пьерпонт Морган.

Через столько-то, столько-то лет

- словом, не выживу -
с голода сдохну ль,
стану ль под пистолет -
меня,
сегодняшнего рыжего,
профессора разучат до последних йот,
как,
когда,
где явлен.

Будет
с кафедры лобастый идиот
что-то молоть о богодьяволе.

Склонится толпа,
лебезяца,
суетна.

Даже не узнаете -
я не я:
облысевшую голову разрисует она
в рога или в сияния.

Каждая курсистка,
прежде чем лечь,
она
не забудет над стихами моими замлеть.

Я - пессимист,
знаю -
вечно
будет курсистка жить на земле.

Слушайте ж:
все, чем владеет моя душа,
- а ее богатства пойдите смертьте ей!-
великолепие,
что в вечность украсит мой шаг,
и самое мое бессмертие,
которое, громяхая по всем векам,
коленопреклоненных соберет мировое вече,-
все это - хотите? -
сейчас отдам
за одно только слово
ласковое,
человечье.

Люди!

Пыля проспекты, топоча рожь,

идите со всего земного лона.

Сегодня

в Петрограде

на Надеждинской

ни за грош

продается драгоценнейшая корона.

За человеческое слово -

не правда ли, дешево?

Пойди,

попробуй,-

как же,

найдешь его!

1916

НАДОЕЛО

Не высидел дома.

Анненский, Тютчев, Фет.

Опять,
тоскою к людям ведомый,
иду
в кинематографы, в трактиры, в кафе.

За столиком.

Сияние.

Надежда сияет сердцу глупому.

А если за неделю

так изменился россиянин,

что щеки сожгу огнями губ ему.

Осторожно поднимаю глаза,

роюсь в пиджачной куче.

“Назад,

наз-зад,

назад!”

Страх орет из сердца.

Мечется по лицу, безнадежен и скучен.

Не слушаюсь.

Вижу,
вправо немножко,
неведомое ни на суше, ни в пучинах вод,
старательно работает над телячьей ножкой
загадочнейшее существо.

Глядишь и не знаешь: ест или не ест он.

Глядишь и не знаешь: дышит или не дышит он.

Два аршина безлицого розоватого теста!
хоть бы метка была в уголочке вышита.

Только кольшутся спадающие на плечи
мягкие складки лоснящихся щек.

Сердце в исступлении,
рвет и мечет.

“Назад же!
Чего еще?”

Влево смотрю.

Рот разинул.

Обернулся к первому, и стало иначе:

для увидевшего вторую образину
первый -
воскресший Леонардо да Винчи.

Нет людей.

Понимаете

крик тысячедневных мук?

Душа не хочет немая идти,
а сказать кому?

Брошусь на землю,

камня корою

в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая.

Истомившимися по ласке губами

тысячью поцелуев покрою

умную морду трамвая.

В дом уйду.

Прилипну к обоям.

Где роза есть нежнее и чайнее?

Хочешь -

тебе

рябое

прочту “Простое как мычание”?

Для истории

Когда все расселятся в раю и в аду,

земля итогами подведена будет -

помните:

в 1916 году

из Петрограда исчезли красивые люди.

1916

ХВОИ

Не надо.

Не просите.

Не будет елки.

Как же

в лес

отпустите папу?

К нему

из-за леса

ядер осколки

протянут,

чтоб взять его,

хищную лапу.

Нельзя.

Сегодня

горящие блески

не будут лежать

под елкой

в вате.

Там -

миллион смертоносных осок,

ужалят,

а раненым ваты не хватит.

Нет.

Не зажгут.

Свечей не будет.

В море

железные чудища лезят.

А с этих чудищ

злые люди

ждут:

не блеснет ли у окон в глазе.

Не говорите.

Глупые речь заводят:

чтоб дед пришел,

чтоб игрушек ворох.

Деда нет.

Дед на заводе.

Завод?

Это тот, кто делает порох.

Не будет музыки.

Рученек

где взять ему?

Не сядет, играя.

Ваш брат

теперь,

безрукий мученик,

идет, сияющий, в воротах рая.

Не плачьте.

Зачем?

Не хмурьте личек.

Не будет -

что же с того!

Скоро

все, в радостном кличе

голоса сплетая,

встретят новое Рождество.

Елка будет.

Да какая -

не обхватишь ствол.

Навесят на елку сиянья разного.

Будет стоять сплошное Рождество.

Так что

даже -

надоест его праздновать.

1916

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ СКАЗКА

Стоит император Петр Великий,

думает:

“Запирую на просторе я!”-

а рядом

под пьяные клики

строится гостиница “Астория”.

Сияет гостиница,

за обедом обед она

дает.

Завистью с гранита снят,

слез император.

Трое медных

слазят

тихо,

чтоб не спугнуть Сенат.

Прохожие стремились войти и выйти.

Швейцар в поклоне не уменьшил рост.

Кто-то
рассеянный
бросил:
“Извините”,
наступив нечаянно на змеин хвост.

Император,
лошадь и змей
неловко
по карточке
спросили гренадин.
Шума язык не смолк, немея.
Из пивших и евших не обернулся ни один.

И только
когда
над пачкой соломинок
в коне заговорила привычка древняя,
толпа сорвалась, криком сломана:
- Жует!
Не знает, зачем они.

Деревня!

Стыдом овихрены шаги коня.

Выбелена грива от уличного газа.

Обратно

по Набережной

гонит гиканье

последнюю из петербургских сказок.

И вновь император

стоит без скипетра.

Змей.

Унынье у лошади на морде.

И никто не поймет тоски Петра -

узника,

закованного в собственном городе.

1916

РОССИИ

Вот иду я,
заморский страус,
в перьях строф, размеров и рифм.
Спрятать голову, глупый, стараюсь,
в оперенье звенящее врыв.

Я не твой, снеговая уродина.

Глубже
в перья, душа, уложись!

И иная окажется родина,

вижу -

выжжена южная жизнь.

Остров зноя.

В пальмы овазился.

“Эй,
дорогу!”

Выдумку мнут.

И опять

до другого оазиса

вью следы песками минут.

Иные жмутся -

уйти б,

не кусается ль?-

Иные изогнуты в низкую лесь.

“Мама,

а мама,

несет он яйца?”-

“Не знаю, душечка.

Должен бы несть”.

Ржут этажия.

Улицы плятятся.

Обдают водой холода.

Весь истыканный в дымы и в пальцы,

переваливаю года.

Что ж, бери меня хваткой мерзкой!

Бритвой ветра перья обрей.

Пусть исчезну,

чужой и заморский,

под неистовства всех декаблей.

1916

ЛИЛИЧКА!

Вместо письма

Дым табачный воздух выел.

Комната -

глава в крученыховском аде.

Вспомни -

за этим окном

впервые

руки твои, исступленный, гладил.

Сегодня сидишь вот,

сердце в железе.

День еще -

выгонишь,

может быть, изругав.

В мутной передней долго не влезет

сломанная дрожью рука в рукав.

Выбегу,

тело в улицу брошу я.

Дикий,

обезумлюсь,

отчаяньем иссечась.

Не надо этого,

дорогая,

хорошая,

дай простимся сейчас.

Все равно

любовь моя -

тяжкая гиря ведь -

висит на тебе,

куда ни бежала б.

Дай в последнем крике вырветь

горечь обиженных жалоб.

Если быка трудом уморят -

он уйдет,

разляжется в холодных водах.

Кроме любви твоей,

мне

нету моря,
а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.

Захочет покоя уставший слон -
царственный ляжет в опожаренном песке.

Кроме любви твоей,

мне

нету солнца,

а я и не знаю, где ты и с кем.

Если б так поэта измучила,

он

любимую на деньги б и славу выменял,

а мне

ни один не радостен звон,

кроме звона твоего любимого имени.

И в пролет не брошусь,

и не выпью яда,

и курок не смогу над виском нажать.

Надо мною,

кроме твоего взгляда,

не властно лезвие ни одного ножа.

Завтра забудешь,

что тебя короновал,
что душу цветущую любовью выжег,
и суетных дней взметенный карнавал
растреплет страницы моих книжек...

Слов моих сухие листья ли

заставят остановиться,

жадно дыша?

Дай хоть

последней нежностью выстелить

твой уходящий шаг.

26 мая 1916 г. Петроград

Стихотворения 1917 - 1919 годов

БРАТЯ ПИСАТЕЛИ

Очевидно, не привыкну

сидеть в “Бристоле”,

пить чай,

построчно врать я,-

опрокину стаканы,

взлезу на столик.

Слушайте,

литературная братия!

Сидите,

глазенки в чайшко канув.

Вытерся от строчения локоть плюшевый.

Подымите глаза от недопитых стаканов.

От косм освободите уши вы.

Вас,

прилипших

к стене,

к обоям,

милые,

что вас со словом свело?

А знаете,

если не писал,

разбоем

занимался Франсуа Виллон.

Вам,
берущим с опаской
и перочинные ножи,
красота великолепнейшего века вверена вам!

Из чего писать вам?

Сегодня

жизнь

в сто крат интересней

у любого помощника присяжного поверенного.

Господа поэты,

неужели не наскучили

пажи,

дворцы,

любовь,

сирени куст вам?

Если

такие, как вы,

творцы -

мне наплевать на всякое искусство.

Лучше лавочку открою.

Пойду на биржу.

Тугими бумажниками растопырю бока.

Пьяной песней

душу выржу

в кабинете кабака.

Под копны волос проникнет ли удар?

Мысль

одна под волосища вложена:

“Причесываться? Зачем же?!

На время не стоит труда,

а вечно

причесанным быть

невозможно”.

1917

РЕВОЛЮЦИЯ

Поэтохроника

26 февраля. Пьяные, смешанные с полицией,
солдаты стреляли в народ.

27-е.

Разлился по блескам дул и лезвий
рассвет.

Рдел багрян и долог.

8 промозглой казарме

суровый

трезвый

молился Волынский полк.

Жестоким

солдатским богом божились

роты,

бились об пол головой многолобой.

Кровь разжигалась, висками жилась.

Руки в железо сжимались злобой.

Первому же,
приказавшему -
“Стрелять за голод!” -
заткнули пулей орущий рот.
Чье-то - “Смирно!”
Не кончил.
Заколот.
Вырвалась городу буря рот.

9 часов.

На своем постоянном месте
в Военной автомобильной школе
стоим,
зажатые казарм оградой.
Рассвет растет,
сомненьем колет,
предчувствием страха и радуя.

Окну!

Вижу -
оттуда,
где режется небо
дворцов иззубленной линией,
взлетел,
простерся орел самодержца,
черней, чем раньше,
злей,
орлинее.

Сразу -
люди,
лошади,
фонари,
дома
и моя казарма
толпами
по сто
ринулись на улицу.
Шагами ломаемая, звенит мостовая.
Уши крушит невероятная поступь.

И вот неведомо,
из пенья толпы ль,
из рвущейся меди ли труб гвардейцев
нерукотворный,
сияньем пробивая пыль,
образ возрос.

Горит.

Рдеется.

Шире и шире крыл окружие.

Хлеба нужней,

воды изжажданней,

вот она:

“Граждане, за ружья!

К оружию, граждане!”

На крыльях флагов

стоглавой лавою

из горла города ввысь взлетела.

Штыков зубами вгрызлась в двуглавое

орла императорского черное тело.

Граждане!

Сегодня рушится тысячелетнее “Прежде”.

Сегодня пересматривается миров основа.

Сегодня

до последней пуговицы в одежде

жизнь переделаем снова.

Граждане!

Это первый день рабочего потопы.

Идем

запутавшемуся миру на выручу!

Пусть толпы в небо вбивают топот!

Пусть флоты ярость сиренами вырычат!

Горе двуглавному!

Пенится пенье.

Пьянит толпу.

Площади плещут.

На крохотном форде

мчим,

обгоняя погони пуль.

Взрывом гудков продираемся в городе.

В тумане.

Улиц река дымит.

Как в бурю дюжина груженных барж,

над баррикадами

плывет, громохвая, марсельский марш.

Первого дня огневое ядро

жужжа скатилось за купол Думы.

Нового утра новую дрожь

встречаем у новых сомнений в бреде мы.

Что будет?

Их ли из окон выломим,

или на нарах

ждать,

чтоб снова

Россию

могилами

выгорбил монарх?!

Душу глушу об выстрел резкий.

Дальше,

в шинели орыт.

Рассыпав дома в пулеметном треске,

город грохочет.

Город горит.

Везде языки.

Взовьются и лягут.

Вновь взвиваются, искры рассея.

Это улицы,

взяв по красному флагу,

призывом зарев зовут Россию.

Еще!

О, еще!

О, ярче учи, красноязыкий оратор!

Зажми и солнца

и лун лучи

мстящими пальцами тысячерукого Марата!

Смерть двуглавному!

Каторгам в двери

ломись,

когтями ржавые выев.

Пучками черных орлиных перьев

Подбитые падают городовые.

Сдается столицы горящий остов.

По чердакам раскинули поиск.

Минута близко.

На Троицкий мост

вступают толпы войск.

Скрип содрогает устои и скрепы.

Стиснулись.

Бьемся.

Секунда!-

и в лак

заката

с фортов Петропавловской крепости

взвился огнем революции флаг.

Смерть двуглавному!

Шеищи глав

рубите наотмашь!

Чтоб больше не ожил.

Вот он!

Падает!

В последнего из-за угла!- вцепился.

“Боже,

четыре тысячи в лоно твое прими!”

Довольно!

Радость трубите всеми голосами!

Нам

до бога

дело какое?

Сами

со святыми своих упокоим.

Что ж не поете?

Или

души задушены Сибирей саваном?

Мы победили!

Слава нам!

Сла-а-ав-в-ва нам!

Пока на оружии рук не разжали,

повелевается воля иная.

Новые несем земле скрижали

с нашего серого Синая.

Нам,

Поселянам Земли,

каждый Земли Поселянин родной.

Все

по станкам,

по конторам,

по шахтам братья.

Мы все

на земле
солдаты одной,
жизнь созидающей рати.

Пробеги планет,
держав бытие
подвластны нашим волям.

Наша земля.

Воздух - наш.

Наши звезд алмазные копи.

И мы никогда,

никогда!

никому,

никому не позволим!

землю нашу ядрами рвать,

воздух наш раздирать остриями отточенных
копий.

Чья злоба надвое землю сломала?

Кто вздыбил дымы над заревом боен?

Или солнца

одного

на всех мало?!

Или небо над нами мало голубое?!

Последние пушки грохочут в кровавых спорах,

последний штык заводы гранят.

Мы всех заставим рассыпать порох.

Мы детям раздарим мячи гранат.

Не трусость вопит под шинелью серую,

не крики тех, кому есть нечего;

это народа огромного громовое:

- Верую

величию сердца человеческого!-

Это над взбитой битвами пылью,

над всеми, кто грызся, в любви изверясь,

днесь

небывалой сбывается былью

социалистов великая ересь!

17 апреля 1917 года. Петроград

СКАЗКА О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ

Жил да был на свете кадет.

В красную шапочку кадет был одет.

Кроме этой шапочки, доставшейся кадету,
ни черта в нем красного не было и нету.

Услышит кадет-революция где-то,
шапочка сейчас же на голове кадета.

Жили припеваючи за кадетом кадет,
и отец кадета, и кадетов дед.

Поднялся однажды пребольшущий ветер,
в клочья шапчонку изорвал на кадете.

И остался он черный. А видевшие это
волки революции сцапали кадета.

Известно, какая у волков диета.

Вместе с манжетами сожрали кадета.

Когда будете делать политику, дети,
не забудьте сказочку об этом кадете.

1917

К ОТВЕТУ!

Гремит и гремит войны барабан.

Зовет железо в живых втыкать.

Из каждой страны

за рабом раба

бросают на сталь штыка.

За что?

Дрожит земля

голодна,

раздета.

Выпарили человечество кровавой баней

только для того,

чтоб кто-то

где-то

разжился Албанией.

Сцепилась злость человеческих свор,

падает на мир за ударом удар

только для того,

чтоб бесплатно

Босфор

проходили чьи-то суда.

Скоро

у мира

не останется неполоманного ребра.

И душу вытащат.

И растопчут там ее

только для того,

чтоб кто-то

к рукам прибрал

Месопотамию.

Во имя чего

сапог

землю растаптывает скрипящ и груб?

Кто над небом боев -

свобода?

бог?

Рубль!

Когда же встанешь во весь свой рост,

ты,

отдающий жизнь свою им?

Когда же в лицо им бросишь вопрос:

за что воюем?

1917

НАШ МАРШ

Бейте в площади бунтов топот!

Выше, гордых голов гряда!

Мы разливом второго потопа

перемоем миров города.

Дней бык пег.

Медленна лет арба.

Наш бог бег.

Сердце наш барабан.

Есть ли наших золот небесней?

Нас ли сжалит пули оса?

Наше оружие - наши песни.

Наше золото - звенящие голоса.

Зеленью ляг, луг,

выстели дно дням.

Радуга, дай дуг

лет бысролетным коням.

Видите, скушно звезд небу!

Без него наши песни вьем.

Эй, Большая Медведица! требуй,

чтоб на небо нас взяли живьем.

Радости пей! Пой!

В жилах весна разлита.

Сердце, бей бой!

Грудь наша - медь литавр.

1917

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ

Били копыта.

Пели будто:

- Гриб.

Грабь.

Гроб.

Груб.-

Ветром опита,

льдом обута,

улица скользила.

Лошадь на круп

грохнулась,

и сразу

за зевакой зевака,

штаны пришедшие Кузнецким клешить,

сгрудились,

смех зазвенел и зазвякал!

- Лошадь упала!

- Упала лошадь!-

Смеялся Кузнецкий.

Лишь один я

голос свой не вмешивал в вой ему.

Подошел

и вижу

глаза лошадиные...

Улица опрокинулась,

течет по-своему...

Подошел и вижу -

за каплицей каплица

по морде катится,

прячется в шерсти...

И какая-то общая

звериная тоска

плеща вылилась из меня

и расплылась в шелесте.

“Лошадь, не надо.

Лошадь, слушайте -

чего вы думаете, что вы их плоше?

Деточка,

все мы немножко лошади,

каждый из нас по-своему лошадь”.

Может быть,

- старая -

и не нуждалась в няньке,

может быть, и мысль ей моя казалась пошла,

только

лошадь

рванулась,

встала ни ноги,

ржанула

и пошла.

Хвостом помахивала.

Рыжий ребенок.

Пришла веселая,

стала в стойло.

И все ей казалось -

она жеребенок,

и стоило жить,

и работать стоило.

1918

ОДА РЕВОЛЮЦИИ

Тебе,

освищенная,

осмеянная батареями,

тебе,

изъявленная злословием штыков,

восторженно возношу

над руганью реемой

оды торжественное

“О”!

О, звериная!

О, детская!

О, копеечная!

О, великая!

Каким названьем тебя еще звали?

Как обернешься еще, двулика?

Стройной постройкой,

грудой развалин?

Машинисту,

пылью угля овеянному,

шахтеру, пробивающему толщи руд,

кадишь,

кадишь благоговейно,

славишь человеческий труд.

А завтра

Блаженный

стропила соборы

тщетно возносит, пощаду моля,-

твоих шестидюймовок тупорылые боры

взрывают тысячелетия Кремля.

“Слава”.

Хрипит в предсмертном рейсе.

Визг сирен придушенно тонок.

Ты шлешь моряков
на тонущий крейсер,
туда,
где забытый
мяукал котенок.
А после!
Пьяной толпой орала.
Ус залихватский закручен в форсе.
Прикладами гонишь седых адмиралов
вниз головой
с моста в Гельсингфорсе.
Вчерашние раны лижет и лижет,
и снова вижу вскрытые вены я.
Тебе обывательское
- о, будь ты проклята трижды!-
и мое,
поэтово
- о, четырежды славься, благословенная!-

1918

ПРИКАЗ ПО АРМИИ ИСКУССТВА

Канителят стариков бригады

канитель одну и ту ж.

Товарищи!

На баррикады!-

баррикады сердец и душ.

Только тот коммунист истый,
кто мосты к отступлению сжег.

Довольно шагать, футуристы,
в будущее прыжок!

Паровоз построить мало -
накрутил колес и утек.

Если песнь не громит вокзала,
то к чему переменный ток?

Громоздите за звуком звук вы
и вперед,
поя и свища.

Есть еще хорошие буквы:

Эр,

Ша,

Ща.

Это мало - построить парами,
распушить по штанине канты.

Все совдепы не сдвинут армий,
если марш не дадут музыканты.

На улицу тащите рояли,
барабан из окна багром!

Барабан,
рояль раскроя ли,
но чтоб грохот был,
чтоб гром.

Это что - корпеть на заводах,
перемазать рожу в копоть
и на роскошь чужую
в отдых
осовелыми глазками хлопать.

Довольно грошовых истин.

Из сердца старое вытри.

Улицы - наши кисти.

Площади - наши палитры.

Книгой времени

тысячелистой

революции дни не воспеты.

На улицы, футуристы,

барабанщики и поэты!

1918

ПОЭТ РАБОЧИЙ

Орут поэту:

“Посмотреть бы тебя у токарного станка.

А что стихи?

Пустое это!

Небось работать - кишка тонка”.

Может быть,

нам

труд

всяких занятий роднее.

Я тоже фабрика.

А если без труб,

то, может,

мне

без труб труднее.

Знаю -

не любите праздных фраз вы.

Рубите дуб - работать дабы.

А мы

не деревообделочники разве?

Голов людских обдělываем дубы.

Конечно,

почтенная вещь - рыбачить.

Вытащить сеть.

В сетях осетры б!

Но труд поэтов - почтенный паче -

людей живых ловить, а не рыб.

Огромный труд - гореть над горном,

железа шипящие класть в закал.

Но кто же

в безделье бросит укор нам?

Мозги шлифуем рашпилем языка.

Кто выше - поэт

или техник,

который

ведет людей к вещественной выгоде?

Оба.

Сердца - такие ж моторы.

Душа - такой же хитрый двигатель.

Мы равные.

Товарищи в рабочей массе.

Пролетарии тела и духа.

Лишь вместе

вселенную мы разукрасим

и маршами пустим ухать.

Отгородимся от бурь словесных молотом.

К делу!

Работа жива и нова.

А праздных ораторов -

на мельницу!

К мукомолам!

Водой речей вертеть жернова.

1918

ТОЙ СТОРОНЕ

Мы

не вопль гениальничанья -

“все дозволено”,

мы

не призыв к ножовой расправе,

мы

просто

не ждем фельдфебельского

“вольно!”,

чтоб спину искусства размять,

расправить.

Гарцуют скелеты всемирного Рима

на спинах наших.

В могилах мало им.

Так что ж удивляться,

что непримиримо

мы

мир обложили сплошным “долоем”.

Характер различен.

За целость Венеры вы

готовы щадить веков камарилью.

Вселенский пожар размочалил нервы.

Орете:

“Пожарных!

Горит Мурильо!”

А мы -

не Корнеля с каким-то Расином -

отца,-

предложи на старье меняться,-

мы

и его

обольем керосином

и в улицы пустим -

для иллюминаций.

Бабушка с дедушкой.

Папа да мама.

Чинопочитанья проклятого тина.

Лачуги рушим.

Возносим дома мы.

А вы нас - “ловить арканом картинок!?”

Мы

не подносим -

“Готово!

На блюде!

Хлебайте сладкое с чайной ложки!”

Клич футуриста:

были б люди -

искусство приложится.

В рядах футуристов пусто.

Футуристов возраст - призыв.

Изрубленные, как капуста,

мы войн,

революций призы.

Но мы

не зовем обывателей гроба.

У пьяной,
в кровавом пунше,
земли -
смотрите! -
взбухает утроба.

Рядами выходят юноши.

Идите!

Под ноги -
топчите ими -

мы

бросим

себя и свои творенья.

Мы смерть зовем рожденья во имя.

Во имя бега,

паренья,

реянья.

Когда ж

прорвемся сквозь заставы,

и праздник будет за болью боя,-

мы

все украшенья

расставить заставим -

любите любое!

1918

ЛЕВЫЙ МАРШ

(Матросам)

Разворачивайтесь в марше!

Словесной не место кляузе.

Тише, ораторы!

Ваше

слово,

товарищ маузер.

Довольно жить законом,

данным Адамом и Евой.

Клячу историю загоним.

Левой!

Левой!

Левой!

Эй, синемлузые!

Рейте!

За океаны!

Или

у броненосцев на рейде

ступлены острые кили?!

Пусть,

оскалясь короной,

вздывает британский лев вой.

Коммуне не быть покоренной.

Левой!

Левой!

Левой!

Там

за горами горя

солнечный край непочатый.

За голод,

за мора море

шаг миллионный печатай!

Пусть бандой окружат нанятой,
стальной изливаются леевой,-
России не быть под Антантой.

Левой!

Левой!

Левой!

Глаз ли померкнет орлий?
В старое ль станем пялиться?

Крепи

у мира на горле

пролетариата пальцы!

Грудью вперед бравой!

Флагами небо оклеивай!

Кто там шагает правой?

Левой!

Левой!

Левой!

1918

ПОТРЯСАЮЩИЕ ФАКТЫ

Небывалей не было у истории в аннале

факта:

вчера,

сквозь иней,

звения в “Интернационале”,

Смольный

ринулся

к рабочим в Берлине.

И вдруг

увидели

деятели сыска,

все эти завсегдагаи баров и опер,

триэтажный

призрак

со стороны российской

Поднялся.

Шагает по Европе.

Обедающие не успели окончить обед -

в место это

грохнулся,

и над Аллеей Побед -

знамя

“Власть Советов”.

Напрасно пухлые руки взмолены,-

не остановить в его неслышном карьере.

Раздавил

и дальше ринулся Смольный,

республик и царств беря барьеры.

И уже

из лоска

тротуарного глянца

Брюсселя,

натягивая нерв,

росла легенда

про Летучего голландца -

голландца революционеров.

А он -

по полям Бельгии,

по рыжим от крови полям,

туда,

где гудит союзное ржанье,
метнулся.

Красный встал над Парижем.

Смолкли парижане.

Стоишь и сладостным маршем манишь.

И вот,

восстанию в лапы отдана,

рухнула республика,

а он - за Ла-Манш.

На площадь выводит подвалы Лондона.

А после

пароходы

низко-низко

над океаном Атлантическим видели -

пронесся.

К шахтерам калифорнийским.

Говорят -

огонь из зева выделил.

Сих фактов оценки различна мерка.

Не верили многие,

Ловчились в спорах.

А в пятницу

утром

вспыхнула Америка,

землей казавшаяся, оказалась порох.

И если

скулит

обывательская моль нам:

- не увлекайтесь Россией, восторженные дети,-”

я

указываю

на эту историю со Смольным.

А этому

я,

Маяковский,

свидетель.

1919

МЫ ИДЕМ

Кто вы?

Мы

разносчики новой веры,
красоте задающей железный тон.

Чтоб природами хилыми не сквернили скверы,
в небеса шарахаем железобетон.

Победители,
шествуем по свету
сквозь рев стариков злочий.

И всем,
кто против,
советуем
следующий вспомнить случай.

Раз
на радугу
кулаком
замахнулся городской:
- чего, мол, меня нарядней и чище!-
а радуга
вырвалась
и давай
опять сиять на полицейском кулачище.

Коммунисту ль
распластываться
перед тем, кто старей?
Беречь сохранность насиженных мест?
Это революция
и на Страстном монастыре
начертила:
“Не трудящийся не ест”.
Революция
отшвырнула
тех, кто
рушащееся
оплакивал тысячью родов,
ибо знает:
новый грядет архитектор -
это мы,
иллюминаторы завтрашних городов.
Мы идем
нерушимо,
бодро.
Эй, двадцатилетние!

Взываем к вам.

Барабаня,

тащите красок ведра.

Заново обкрасимся.

Сияй, Москва!

И пускай

с газеты

какой-нибудь выродок

сражается с нами

(не на смерть, а на живот).

Всех младенцев перебили по приказу Ирода;

а молодость,

ничего -

живет.

1919

СОВЕТСКАЯ АЗБУКА

А

Антисемит Антанте мил.

Антанта - сборище громил.

Б

Большевики буржуев ищут.

Буржуи мчатся верст за тыщу.

В

Вильсон важнее прочей птицы.

Воткнуть перо бы в ягодицы.

Г

Гольц фон-дер прет на Ригу. Храбрый!

Гуляй, пока не взят за жабры!

Д

Деникин было взял Воронеж.

Дяденька, брось, а то уронишь.

Е

Европой правит Лига наций.

Есть где воришкам разогнаться!

Ж

Железо куй, пока горячее.

Жалеть о прошлом - дело рачье.

З

Земля собой шарообразная,

За Милюкова - сволочь разная.

И

Интеллигент не любит риска.

И красен в меру, как редиска.

К

Корове трудно бегать быстро.

Керенский был премьер-министром.

Л

Лакеи подают на блюде.

Ллойд-Джордж служил и вышел в люди.

М

Меньшевики такие люди -

Мамашу могут проиудить.

Н

На смену вам пора бы. Носке!

Носки мараются от носки.

О

Ох, спекулянту хоть повеситься!

Октябрь идет. Не любит месяца.

П

Попы занялись делом хлебным -

Погромщиков встречать молебном.

Р

Рим - город и стоит на Тибре.

Румыны смотрят, что бы стибрить.

С

Сазонов послан вновь Деникиным.

Сиди послом, пока не выкинем!

Т

Тот свет - буржуям отдых сладкий

Трамваем Б без пересадки!

У

У “правых” лозунг “учредилка”.

Ужели жив еще курилка?!

Ф

Фазан красив. Ума ни унции.

Фиуме спьяну взял д'Аннунцио.

Х

Хотят в Москву пробраться Шкуры.

Хохочут утки, гуси, куры.

Ц

Цветы благоухают к ночи.

Царь Николай любил их очень.

Ч

Чалдон на нас шел силой ратной.

Чи не пойдете ли обратно?!!

Ш

Шумел Колчак, что пароход.

Шалишь, верховный! Задний ход!

Щ

Щетина украшает борова.

Щенки Антанты лают здорово.

Э

Экватор мучает испарина.

Эсера смой - увидишь барина.

Ю

Юнцы охочи зря приврать.

Юденич хочет Питер брать.

Я

Японцы, все белых учите!

Ярмо микадо нам не всучите.

1919

“Окна сатиры Роста” 1919-1920 годов

*

1. Рабочий!

Глупость беспартийную выкинь!

Если хочешь жить с другими вразброд -

всех по очереди словит Деникин,

всех сожрет генеральский рот.

2. Если ж на зов партийной недели

придут миллионы с фабрик и с пашен -

рабочий быстро докажет на деле,

что коммунистам никто не страшен.

1919, октябрь

ПЕСНЯ РЯЗАНСКОГО МУЖИКА

1. Не хочу я быть советской.

Батюшки!

А хочу я жизни светской.

Матушки!

Походил я в белы страны.

Батюшки!

Мужичков встречают странно.

Матушки!

2. Побывал у Дутова.

Батюшки!

Отпустили вздутого.

Матушки!

3. Я к Краснову, у Краснова -

Батюшки!

Кулачище - сук сосновый.

Матушки!

4. Я к Деникину, а он -

Батюшки!

Бьет крестьян, как фараон.

Матушки!

5. Мамонтов-то генерал -

Батюшки!

Матершинно наорал.

Матушки!

Я ему: “Все люди братья”.

Батюшки!

А он: “И братьев буду драть я”.

Матушки!

6. Я поддался Колчаку.

Батюшки!

Своротил со скул щеку.

Матушки!

На Украину махнул.

Батюшки!

Думаю, теперь вздохну.

Матушки!

А Петлюра с Киева -

Батюшки!

Уж орет: “Секи его!”

Матушки!

7. Видно, белый ананас -

Батюшки!

Наработан не для нас.

Матушки!

Не пойду я ни к кому,

Батюшки!

Окромя родных Коммун.

Матушки!

1919, октябрь

*

1. Оружие Антанты - деньги.

2. Белогвардейцев оружие - ложь.

3. Большевиков оружие - в спину нож.

4. Правда,

5. глаза открытые

6. и ружья -

ВОТ КОММУНИСТОВ ОРУЖИЕ.

1920, июль

*

1. Если жить вразброд,

как махновцы хотят,

2. буржуазия передошлет нас, как котят.

3. Что единица?

Ерунда единица!

4. Надо

в партию коммунистическую объединиться.

5. И буржуи,

какими б ни были ярыми,

6. побегут

от мощи

миллионных армий.

1920, июль

ИСТОРИЯ ПРО БУБЛИКИ И ПРО БАБУ,
НЕ ПРИЗНАЮЩУЮ РЕСПУБЛИКИ

1. Сья история была
в некоей республике.
Баба на базар плыла,
а у бабы бублики.
2. Слышит топот близ ее,
музыкою веется:
бить на фронте пановье
мчат красноармейцы.
3. Кушать хотца одному,
говорит ей: “Тетя,
бублик дай голодному!
Вы ж на фронт нейдете?!”
4. Коль без дела будет рот,
буду слаб, как мощи.
5. Пан республику сожрет,
если будем тощи”.
6. Баба молвила: “Ни в жисть
не отдам я бублики!

Прочь, служивый! Отвяжись!

Черта ль мне в республике?!”

7. Шел наш полк и худ и тощ,
паны ж все саженные.
Нас смела Панова мощь
в первом же сражении.
8. Мчится пан, и лют и яр,
смерть неся рабочим;
к глупой бабе на базар
влез он между прочим.
9. Видит пан - бела, жирна
баба между публики.
Миг - и съедена она.
И она и бублики.
10. Посмотри, на площадь выйди -
ни крестьян, ни ситника.
Надо вовремя кормить
красного защитника!
11. Так кормите ж красных рать!
Хлеб неси без вою,
чтобы хлеб не потерять

вместе с головою!

1920, август

КРАСНЫЙ ЕЖ

Голой рукою нас не возьмешь.

Товарищи,- все под ружья!

Красная Армия - Красный еж -

железная сила содружья.

Рабочий на фабрике, куй, как куешь,

Деникина день сосчитан!

Красная Армия - Красный еж -

верная наша защита.

Крестьяне, спокойно сейте рожь,

час Колчака сосчитан!

Красная Армия - Красный еж -

лучшая наша защита.

Врангель занес на Коммуну нож,

баронов срок сосчитан!

Красная Армия - Красный еж -

не выдаст наша защита.

Назад, генералы, нас не возьмешь!

Наземь кидайте оружие.

Красная Армия - Красный еж -

железная сила содружья.

1920

*

1. Каждый прогул -

2. радость врагу.

3. А герой труда -

4. для буржуев удар.

1921, январь

ЧАСТУШКИ

Милкой мне в подарок бурка

и носки подарены.

Мчит Юденич с Петербурга
как наскипидаренный.

Мчит Пилсудский, пыль столбом,
стон идет от марша.

Разобьется панским лбом
об Коммуну маршал.

В октябре с небес не пух -
снег с небес валится.

Что-то наш Деникин вспух,
стал он криволицый.

1919-1920

Стихотворения 1920-1925 годов

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ!

Я знаю -

не герои

низвергают революций лаву.

Сказка о героях -

интеллигентская чушь!

Но кто ж

удержится,

чтоб славу

нашему не воспеть Ильичу?

Ноги без мозга - вздорны.

Без мозга

рукам нет дела.

Металось

во все стороны

мира безголовое тело.

Нас

продавали на вырез.

Военный вздымался вой.

Когда

над миром вырос

Ленин

огромной головой.

И земли

сели на оси.

Каждый вопрос - прост.

И выявилось

два

в хаосе

мира

во весь рост.

Один -

животище на животище.

Другой -

непреклонно скалистый -

влил в миллионы тыщи.

Встал

горой мускулистой.

Теперь

не промахнемся мимо.

Мы знаем кого - мети!

Ноги знают,

чьими

трусами

им идти.

Нет места сомненьям и воям.

Долой улитье -“пождем”!

Руки знают,

кого им

крыть смертельным дождем.

Пожарами землю дымя,

езде,

где народ испленен,

взрывается

бомбой

имя:

Ленин!

Ленин!

Ленин!

И это -

не стихов вееру

обмахивать юбиляра уют.-

Я

в Ленине

мира веру

славлю

и веру мою.

Поэтом не быть мне бы,

если б

не это пел -

в звездах пятиконечных небо

безмерного свода РКП.

1920

НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ,

БЫВШЕЕ С ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ

ЛЕТОМ НА ДАЧЕ

(Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева,

27 верст по Ярославской жел. дор.)

В сто сорок солнц закат пылал,

в июль катилось лето,

была жара,

жара плыла -

на даче было это.

Пригорок Пушкино горбил

Акуловой горою,

а низ горы -

деревней был,

кривился крыш корою.

А за деревнею -

дыра,

и в ту дыру, наверно,

спускалось солнце каждый раз,

медленно и верно.

А завтра

снова

мир залить

вставало солнце ало.

И день за днем

ужасно злить

меня

вот это

стало.

И так однажды разозлясь,
что в страхе все поблекло,
в упор я крикнул солнцу:

“Слазь!

довольно шляться в пекло!”

Я крикнул солнцу:

“Дармоед!

занежен в облака ты,

а тут - не знай ни зим, ни лет,

сиди, рисуй плакаты!”

Я крикнул солнцу:

“Погоди!

послушай, златолобо,

чем так,

без дела заходить,

ко мне

на чай зашло бы!”

Что я наделал!

Я погиб!

Ко мне,

по доброй воле,

само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать -
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.
В окошки,
в двери,
в щель войдя,
валилась солнца масса,
ввалилось;
дух переведя,
заговорило басом:
“Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чаи гони,
гони, поэт, варенье!”
Слеза из глаз у самого -
жара с ума сводила,

но я ему -

на самовар:

“Ну что ж,

садись, светило!”

Черт дернул дерзости мои

орать ему,-

сконфужен,

я сел на уголок скамьи,

боюсь - не вышло б хуже!

Но странная из солнца ясь

струилась,-

и степенность

забыв,

сижую, разговорись

с светилом постепенно.

Про то,

про это говорю,

что-де заела Роста,

а солнце:

“Ладно,

не горюй,

смотри на вещи просто!

А мне, ты думаешь,

светить

легко?

- Поди, попробуй!-

А вот идешь -

взялось идти,

идешь - и светишь в оба!”

Болтали так до темноты -

до бывшей ночи то есть.

Какая тьма уж тут?

На “ты”

мы с ним, совсем освоюсь.

И скоро,

дружбы не тая,

бью по плечу его я.

А солнце тоже:

“Ты да я,

нас, товарищ, двое!

Пойдем, поэт,

взорим,

вспоем

у мира в сером хламе.

Я буду солнце лить свое,

а ты - свое,

стихами”.

Стена теней,

ночей тюрьма

под солнц двустволкой пала.

Стихов и света кутерьма -

сияй во что попало!

Устанет то,

и хочет ночь

прилечь,

тупая сонница.

Вдруг - я

во всю светаю мочь -

и снова день трезвонится.

Светить всегда,

светить везде,

до дней последних донца,

светить -

и никаких гвоздей!

Вот лозунг мой -

и солнца!

1920

РАССКАЗ ПРО ТО, КАК КУМА

О ВРАНГЕЛЕ ТОЛКОВАЛА ВЕЗ ВСЯКОГО УМА

Старая, но полезная история

Врангель прет.

Отходим мы.

Врангелю удача.

На базаре

две кумы,

вставши в хвост, судачат!

- Кум сказал,-

а в ем ума -

я-то куму верю,-

что барон-то,

слышь, кума,

меж Москвой и Тверью.

Чуть не даром

все

в Твери

стало продаваться.

Пуд крупчатки...

- Ну,

не ври!-

пуд за рупь за двадцать.

- А вина, скажу я вам!

Дух над Тверью водочный.

Пьяных

лично

по домам

водит околоточный.

Влюблены в барона власть

левые и правые.

Ну, не власть, а прямо сласть,

просто - равноправие.

Встали, ртом ловя ворон.
Скоро ли примчится?
Скоро ль будет царь-барон
и белая мучица?

Шел волшебник мимо их.

- На,- сказал он бабе,-
сороходы-сапоги,
к Врангелю зашла бы!-

Вмиг обувшись,

шага в три

в Тверь кума на это.

Кум сбрыхнул ей:

во Твери

власть стоит Советов.

Мчала баба суток пять,

рвала юбки в ветре,

чтоб баронский

увидать

флаг

на Ай-Петри.

Разогнавшись с дальних стран,

удержаться силясь,

баба

прямо

в ресторан

в Ялте опустилась.

В “Гранд-отеле”

семгу жрет

Врангель толсторожий.

Разевает баба рот

на рыбешку тоже.

Метрдотель

желанья те

зрит -

и на подносе

ей

саженный метрдотель

карточку подносит.

Все в копеечной цене.

Съехал сдуру разум.

Молвит баба:

- Дайте мне

всю программу разом!-

От лакеев мчится пыль.

Прошибает пот их.

Мчат котлеты и супы,

вина и компоты.

Уж из глаз еда течет

у разбухшей бабы!

Наконец-то

просит счет

бабин голос слабый.

Вся собралась публика.

Стали щелкать счета.

Сто четыре рублика

выведено в счете.

Что такая сумма ей?!

Даром!

С неба манна.

Двести вынула рублей

баба из кармана.

Отскочил хозяин.

- Нет!-

(Бледность мелом в роже.)

Наш-то рупь не в той цене,
наш в миллион дороже.-

Завопил хозяин лют:

- Знаешь разницу валют?!

Беспортошных нету тут,
генералы тута пьют!-

Возопил хозяин в яри:

- Это, тетка, что же!

Этак

каждый пролетарий

жрать захочет тоже.

- Будешь знать, как есть и пить!-

все завыли в злости.

Стал хозяин тетку бить,

метрдетель

и гости.

Околоточный

на шум

прибежал из части.

Взвыла баба:

- Ой,

прошу,

защитите, власти! -

Как подняла власть сия

с шпорой сапожища...

Как полезла

мигом

вся

вспять

из бабы пища.

- Много,- молвит,- благ в Крыму

только для буржуя,

а тебя,

мою куму,

в часть препровожу я.-

Влезла

тетка

в скороход

пред тюремной дверью,

как задала тетка ход -

в Эрэсэфэсэрю.

Бабу видели мою,

наши обыватели?

Не хотите

в том раю

сами побывать ли?!

1920

ГЕЙНЕОБРАЗНОЕ

Молнию метнула глазами:

“Я видела -

с тобой другая.

Ты самый низкий,

ты подлый самый...”-

И пошла,

и пошла,

и пошла, ругая.

Я ученый малый, милая,

громыханья оставьте ваши.

Если молния меня не убила -

то гром мне,

ей-богу, не страшен.

1920

*

Портсигар в траву

ушел на треть.

И как крышка

блестит

наклонились смотреть

муравьишки всяческие и травишка.
Обалдело дивились
выкрутас монограмме,
дивились сиявшему серебром
полированным,
не стоившие со своими морями и горами
перед делом человеческим
ничего ровно.
Было в диковинку,
слепило зрение им,
ничего не видевшим этого рода.
А портсигар блестел
в окружающее с презрением:
- Эх, ты, мол,
природа!

1920

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЧКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Слава тебе, краснозвездный герой!

Землю кровью вымыв,
во славу коммуны,
к горе за горой
шедший твердынями Крыма.
Они проползали танками рвы,
выпятив пушек шеи,-
телами рвы заполняли вы,
по трупам перейдя перешеек.
Они
за окопами взрыли окоп,
хлестали свинцовой рекою,-
а вы
отобрали у них Перекоп
чуть не голой рукою.
Не только тобой завоеван Крым
и белых разбита орава,-
удар твой двойной:
завоевано им
трудиться великое право.
И если
в солнце жизнь суждена

за этими днями хмурыми,
мы знаем -
вашей отвагой она
взята в перекопском штурме.
В одну благодарность сливаем слова
тебе,
краснозвездная лава.
Во веки веков, товарищи,
вам -
слава, слава,слава!

1920 - 1921

О ДРЯНИ

Слава, Слава, Слава героям!!!

Впрочем,

им

довольно воздали дани.

Теперь

поговорим

о дряни.

Утихомирились бури революционных лон.

Подернулась тиной советская мешанина.

И вылезло

из-за спины РСФСР

мурло

мещанина,

(Меня не поймаете на слове,

я вовсе не против мещанского сословия.

Мещанам

без различия классов и сословий

мое славословие.)

Со всех необъятных российских нив,

с первого дня советского рождения

стеклись они,

наскоро оперенья переменив,

и засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады,
крепкие, как умывальники,
живут и поныне
тише воды.

Свили уютные кабинеты и спальни.

И вечером
та или иная мразь,
на жену,
за пианином обучающуюся, глядя,
говорит,
от самовара разморясь:
“Товарищ Надя!

К празднику прибавка -

24 тыщи.

Тариф.

Эх,

и заведу я себе

тихоокеанские галифища,

чтоб из штанов

выглядывать,

как коралловый риф!”

А Надя:

“И мне с эмблемами платья.

Без серпа и молота не покажешься в свете!

В чем

сегодня

буду фигурировать я

на балу в Реввоенсовете?!”

На стенке Маркс.

Рамочка ала.

На “Известиях” лежат котенок греется.

А из-под потолочка

верещала

оголтелая канарейца.

Маркс со стенки смотрел, смотрел...

И вдруг

разинул рот,

да как заорет:

“Опутали революцию обывательщины нита

Страшнее Врангеля обывательский быт.

Скорее

головы канарейкам сверните -

чтоб коммунизм

канарейками не был побит!”

1920 - 1921

ДВА НЕ СОВСЕМ ОБЫЧНЫХ СЛУЧАЯ

Ежедневно

как вол жуя,

стараясь за строчки драть,-

я

не стану писать про Поволжье:

про ЭТО -

страшно врать.

Но я голодал,

и тысяч лучше я

знаю проклятое слово - “голодные!”.

Вот два,

не совсем обычные, случая,
на ненависть к голоду самые годные.

Первый -

Кто из петербуржцев

забудет 18-й год?1

Наддохлым лошадем вороны кружатся.

Лошадь за лошадью падает на лед.

Заколачиваются улицы ровные.

Хвостом виляя,

ка перекрестках

собаки дрессированные

просили милостыню, визжа и лая.

Газетам писать не хватало духу -

но это ж передавалось изустно:

старик

удушил

жену-старуху

и ел частями.

Злился -

невкусно.

Слухи такие

и мрущим от голода,

и сытым сумели глотки свести.

Из каждой поры огромного города

росло ненасытное желание есть.

От слухов и голода двигаясь еле,

раз

сам я,

с голодной тоской,

остановился у витрины Эйлера -

цветочный магазин на углу Морской.

Малы - аж не видно! - цветочные точки,

нули ж у цен

необъятны длиною!

По булке, должно быть, в любом лепесточке,

И вдруг,

смотрю,

меж витриной и мною -

фигурка человечья.

Идет и валится.

У фигурки конская голова.

Идет.

И в собственные ноздри

пальцы

воткнула.

Три или два.

Глаза открытые мухи обсели,

а сбоку

жила из шеи торчала

Из жилы

капли по улицам сеялись

и стыли черно, кровеня сначала.

Смотрел и смотрел на ползущую тень я,

дрожа от сознания невыносимого,

что полуживотное это -

виденье! -

что это

людей вымирающих символ.

От этого ужаса я - на попятный.

Ищу машинально чернеющий след.

И к туше лошажьей приплелся по пятнам.

Где ж голова?

Головы и нет!

А возле

с каплями крови присохлой,

блестел вершок перочинного ножичка -

должно быть,

тот

работал наддохлой

и толстую шею кромсал понемножечко.

Я понял:

не символ,

стихом позолоченный,

людская

реальная тень прошагала.

Быть может,

завтра вот так же точно

я здесь заработаю, скалясь шакалом.

Второй. -

Из мелочи выросло в это.

Май стоял.

Позапрошлое лето.

Весною ширишь ноздри и рот,
ловя бульваров дыханье липовое.

Я голодал,
и с другими

в черед
встал у бывшей кофейни Филиппова я.

Лет пять, должно быть, не был там,
а память шепчет еле:

“Тогда
в кафе
журчал фонтан
и плавали форели”.

Вздуваемый памятью рос аппетит;
какой ни на есть,
но по крайней мере -
обед.

Как медленно время летит!

И вот
я втиснут в кофейные двери.

Сидели
с селедкой во рту и в посуде,

в селедке рубахи,
и воздух в селедке.

На черта ж весна,

если с улиц

люди

от лип

сюда влипают все-таки!

Едят,

дрожа от голода голого,

вдыхают радостью душище едкий,

а нищие молят:

подайте головы.

Дерясь, получают селедок объедки.

Кто б вспомнил народа российского имя,

когда б не бросали хребты им в горсточки?!

Народ бы российский

сегодня же вымер,

когда б не нашлось у селедки косточки.

От мысли от этой

сквозь грызшихся кучку,

громя кулаком по ораве зверьей,
пробился,
схватился,
дернул за ручку -
и выбег,
селедкой обмазан -
об двери.

Не знаю,
душа пропахла,
рубаха ли,
какими водами дух этот смою?
Полгода
звезды селедкою пахли,
лучи рассыпая гнилой чешуею).

Пускай,
полусытый,
доволен я нынче:
так, может, и кончусь, голод не видя,-
к нему я
ненависть в сердце вынянчил,

превыше всего его ненавидя.

Подальше прочую чушь забрось,

когда человека голодом сводит.

Хлеб!-

вот это земная ось:

на ней вертеться и нам и свободе.

Пусть бабы баранки на Трубной нижут

и ситный лари Смоленского ломит,-

я день и ночь Поволжье вижу,

солому жующее, лежа в соломе.

Трубите ж о голоде в уши Европе!

Делитесь и те, у кого немного!

Крестьяне,

ройте пашен окопы!

Стреляйте в него

мешками налога!

Гоните стихом!

Тесните пьесой!

Вперед врачей целебных взводы!

Давите его дымовою завесой!

В атаку, фабрики!

В ногу, заводы!

А если

воплю голодных не внимлешь,-

чужды чужие голод и жажда вам,-

он

завтра

нагрянет на наши земли ж

и встанет здесь

за спиною у каждого!

1921

СТИХОТВОРЕНИЕ О МЯСНИЦКОЙ, О БАБЕ И О ВСЕРОССИЙСКОМ МАСШТАБЕ

Сапоги почистить - 1 000 000.

Состояние!

Раньше б дом купил -

и даже неплохой.

Привыкли к миллионам.

Даже до луны расстояние

советскому жителю кажется чепухой.

Дернул меня черт

писать один отчет.

“Что это такое?” -

спрашивает с тоскою

машинистка.

Ну, что отвечу ей?!

Черт его знает, что это такое,

если сзади

у него

тридцать семь нулей.

Недавно уверяла одна дура,

что у нее

тридцать девять тысяч семь сотых температура.

Так привыкли к таким числам,

что меньше сажени число и не мыслим.

И нам,

если мы на митинге режем,
рамки арифметики, разумеется, узки -
все разрешаем в масштабе мировом.
В крайнем случае - масштаб общерусский.
“Электрификация?!” - масштаб всероссийский.
“Чистка!” - во всероссийском масштабе.

Кто-то
даже,
чтоб избежать переписки,
предлагал -
сквозь землю
до Вашингтона кабель.

Иду.
Мясницкая.
Ночь глуха.
Скачу трясогузкой с ухаба на ухаб.
Сзади с тележкой баба.
С вещами
на Ярославский
хлюпает по ухабам.

Сбивают ставшие в хвост на галоши;
то грузовик обдаст,
то лошадь,
Балансируя
- четырехлетний навык! -
тащусь меж канавиц,
канав,
канавок.
И то
- на лету вспоминая маму -
с размаху
у почтамта
плюхаюсь в яму.
На меня тележка.
На тележку баба.
В грязи ворочаемся с боку на бок.
Что бабе масштаб грандиозный наш?!
Бабе грязью обдало рыло,
и баба,
взбираясь с этажа на этаж,
сверху

и меня

и власти крыла.

Правдив и свободен мой вещий язык

и с волей советскою дружен,

но, натолкнувшись на эти низы,

даже я запнулся, сконфужен.

Я

на сложных агитвопросах рос,

а вот

не могу объяснить бабе,

почему это

о грязи

на Мясницкой

вопрос

никто не решает в общемясницком масштабе?!

1921

ПРИКАЗ № 2 АРМИИ ИСКУССТВ

Это вам -

упитанные баритоны -
от Адама
до наших лет,
потрясающие театрами именуемые притоны
ариями Ромео и Джульетт.

Это вам -
пентры,
раздобревшие как кони,
жрущая и ржущая России краса,
прячущаяся мастерскими,
по-старому драконя
цветочки и телеса.

Это вам -
прикрывшиеся листиками мистики,
лбы морщинками изрыв -
футуристики,
имажинистики,
акмеистики,
запутавшиеся в паутине рифм.

Это вам -

на растрепанные сменившим
гладкие прически,
на лапти - лак,
пролеткультцы,
кладущие заплатки
на вылинявший пушкинский фрак.

Это вам -
пляшущие, в дуду дующие,
и открыто предающиеся,
и грешащие тайком,
рисующие себе грядущее
огромным академическим пайком.

Вам говорю

я -
гениален я или не гениален,
бросивший безделушки
и работающий в Росте,
говорю вам -
пока вас прикладами не прогнали:
Бросьте!

Бросьте!

Забудьте,

плюньте

и на рифмы,

и на арии,

и на розовый куст,

и на прочие мелехлюндии

из арсеналов искусств.

Кому это интересно,

что - “Ах, вот бедненький!

Как он любил

и каким он был несчастным...”?

Мастера,

а не длинноволосые проповедники

нужны сейчас нам.

Слушайте!

Паровозы стонут,

дует в щели и в пол:

“Дайте уголь с Дону!

Слесарей,

механиков в депо!”

У каждой реки на истоке,
лежа с дырой в боку,
пароходы провыли доки:
“Дайте нефть из Баку!”
Пока канителю, спорим,
смысл сокровенный ища:
“Дайте нам новые формы!”-
несется вопль по вещам.

Нет дураков,
жда, что выйдет из уст его,
стоять перед “маэстрами” толпой разинь.

Товарищи,
дайте новое искусство -
такое,
чтобы выволочь республику из грязи.

ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ

Чуть ночь превратится в рассвет,

вижу каждый день я:

кто в глав,

кто в ком,

кто в полит,

кто в просвет,

расходится народ в учрежденья.

Обдают дождем дела бумажные,

чуть войдешь в здание;

отобрав с полсотни -

самые важные! -

служащие расходятся на заседания.

Заявишься:

“Не могут ли аудиенцию дать?”

Хожу со времени она”.-

“Товарищ Иван Ваньч ушли заседать -

объединение Тео и Гукона”.

Исколесишь сто лестниц.

Свет не мил.

Опять:

“Через час велели прийти вам.

Заседают:

покупка склянки чернил

Губкооперативом”.

Через час:

ни секретаря,

ни секретарши нет -

голо!

Все до 22-х лет

на заседании комсомола.

Снова взбираюсь, глядя на ночь,

на верхний этаж семиэтажного дома.

“Пришел товарищ Иван Ваныч?” -

“На заседании

А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома”.

Взъяренный,

на заседание

врываюсь лавиной,

дикие проклятья дорогой изрыгая.

И вижу:

сидят людей половины.

О дьявольщина!

Где же половина другая?

“Зарезали!

Убили!”

Мечусь, оря.

От страшной картины свихнулся разум.

И слышу

спокойнейший голосок секретаря:

“Оне на двух заседаниях сразу.

В день

заседаний на двадцать

надо поспеть нам.

Поневоле приходится раздвояться.

До пояса здесь,

а остальное

там”.

С волнения не уснешь.

Утро раннее.

Мечтой встречаю рассвет ранний:

“О, хотя бы

еще

одно заседание

относительно искоренения всех заседаний!”

1922

СВОЛОЧИ!

Гвоздимые строками,

стойте немые!

Слушайте этот волчий вой,

еле прикидывающийся поэмой!

Дайте сюда

самого жирного,

самого плешивого!

За шиворот!

Ткну в отчет Помгола.

Смотри!

Видишь -

за цифрой голой...

Ветер рванулся.

Рванулся и тише...

Снова снегами огреб

тысяче -

миллионнокрыший

волжских селений гроб.

Трубы -

гробовые свечи.

Даже вороны

исчезают,

чуя,

что, дымясь,

тянется

слащавый,

тошнотворный

дух

зажариваемых мяс.

Сына?

Отца?

Матери?

Дочери?

Чья?!

Чья в людоедчестве очередь?!.

Помощи не будет!

Отрезаны снегами.

Помощи не будет!

Воздух пуст.

Помощи не будет!

Под ногами

даже глина сожрана,

даже куст.

Нет,

не помогут!

Надо сдаваться.

В 10 губерний могилу вымеряйте!

Двадцать
миллионов!

Двадцать!

Ложитесь!

Вымрите!..

Только одна,
осипшим голосом,
сумасшедшие проклятия метелями меля,
рек,
дорог снеговые волосы
ветром рвя, рыдает земля.

Хлеба!

Хлебушка!

Хлебца!

Сам смотрящий смерть воочию,
еле едящий,
только б не сдох,-
тянет город руку рабочую

горстью сухих крох.

“Хлеба!

Хлебушка!

Хлебца!”

Радио ревет за все границы.

И в ответ

за нелепицей нелепица

сыплется в газетные страницы.

“Лондон.

Банкет.

Присутствие короля и королевы.

Жрущих - не вместишь в раззолоченные
хлевы”.

Будьте прокляты!

Пусть

за вашей головою венчанной

из колоний

дикари придут,

питаемые человечиндой!

Пусть

горят над королевством

бунтов зарева!

Пусть

столицы ваши

будут выжжены дотла!

Пусть из наследников,

из наследниц варево

варится в коронах - котлах!

“Париж.

Собрались парламентарии.

Доклад о голоде.

Фритиоф Нансен.

С улыбкой слушали.

Будто соловьиные арии.

Будто тенора слушали в модном романсе”.

Будьте прокляты!

Пусть

во веки

вам

не слышать речи человеческой!

Пролетарий французский!

Эй,

стягивай петлю вместо речи

толщ непроходимых шей!

“Вашингтон.

Фермеры,

доевшие,

допившие

до того,

что лебедками поднимают пузы,

в океане

пшеницу

от излишества топившие,-

топят паровозы грузом кукурузы”.

Будьте прокляты!

Пусть

ваши улицы
бунтом будут запружены.
Выбрав
место, где более больно,
пусть
по Америке -
по Северной,
по Южной -
гонят
брюх ваших
мячище футбольный!

“Берлин.
Оживает эмиграция.
Банды радуются:
с голодными драться им.
По Берлину,
закручивая усики,
ходят,
хвастаются:
- Патриот!

Русский!”

Будьте прокляты!

Вечное “вон!” им!

Всех отвращая иудьим видом,
французского золота преследуемые звоном,
скитайтесь чужбинами Вечным жидом!

Леса российские,
соберитесь все!

Выберите по самой большой осине,
чтоб образ ихний
вечно висел,
под самым небом качался, синий.

“Москва.

Жалоба сборщицы:

в “Ампирах” морщатся

или дадут

тридцатирублевку,

вышедшую из употребления в 1918 году”.

Будьте прокляты!

Пусть будет так,

чтоб каждый проглоченный

глоток

желудок жег!

Чтоб ножницами оборачивался бифштекс

сочный,

вспарывая стенки кишок!

Вымрет.

Вымрет 20 миллионов человек!

Именем всех упокоенных тут -

проклятие отныне,

проклятие вовек

от Волги отвернувшим морд толстоту.

Это слово не к жирному пузу,

это слово не к царскому трону,-

в сердце таком

слова ничего не тронут:

трогают их революций штыком.

Вам,
несметной армии частицам малым,
порох мира,
силой чьей,
силой,
брошенной по всем подвалам,
будет взорван
мир несметных богачей!
Вам! Вам! Вам!
Эти слова вот!

Цифрами верстовыми,
вмещающимися едва,
запишите Волгу буржуазии в счет!

Будет день!
Пожар всехсветный,
чистящий и чадный.
Выворачивая богачей палаты,
будьте так же,
так же беспощадны

в этот час расплаты!

1922

БЮРОКРАТИАДА

Прабабушка бюрократизма

Бульвар.

Машина.

Сунь пятак -

что-то повертится,

пошипит гадко.

Минуты через две,

приблизительно так,

из машины вылезит трехкопеечная

шоколадка.

Бараны!

Чего разглазелись кучей?!

В магазине и проще,

и дешевле,

и лучше.

Вчерашнее

Черт,

сын его

или евонный брат,

расшутившийся сверх всяких мер,

раздул машину в миллиарды крат

и расставил по всей РСФСР.

С ночи становятся людей тени.

Тяжелая - подъемный мост! -

скрипит,

глотает дверь учреждений

извивающийся человеческий хвост.

Дверь разгорожена.

Еще не узка им!

Через решетки канцелярских баррикад,

вырвав пропуск, идет пропускаемый.

Разлилась коридорами человечья река.

(Первый шип -

первый вой -

“С очереди сшиб!”

“Осади без трудовой!”)

- Ищите и обряцете,-

пойди и “ряць” ее!-

которая “входящая” и которая “исходящая”?!)

Обряцут через час - другой.

На рупь бумаги - совсем мало! -

всовывают дрожащей рукой

в пасть входящего журнала.

Колесики завертелись.

От дамы к даме

пошла бумажка, украшаясь номерами.

От дам бумажка перекинулась к секретарше.

Шесть секретарш от младшей до старшей!

До старшей бумажка дошла в обед.

Старшая разошлась.

Потерялся след.

Звезды считать?

Сойдешь с ума!

Инстанций не считаю - плавай сама!

Бумажка плыла, шевелилась еле.

Лениво ворочались машины валы.

В карманы тыкалась,

совалась в портфели,

на полку ставилась,

клатась в столы.

Под грудой таких же

столами коллегий

ждала,

когда подымут ввысь ее,

и вновь

под сукном

в многомесячной неге

дремала в тридцать третьей комиссии.

Бумажное тело сначала толстело.

Потом прибавились клипсы - лапки.

Затем бумага выросла в “дело” -
пошла в огромной синей папке.
Зав ее исписал на славу,
от зава к замзаву вернулась вспять,
замзав подписал,
и обратно
к заву
вернулась на подпись бумага опять.
Без подписи места не сыщем под ней мы,
но вновь
механизм
бумагу волок,
с плеча рассыпая печати и клейма
на каждый
чистый еще
уголок.
И вот,
через какой-нибудь год,
отверз журнал исходящий рот.
И, скрипнув перьями,
выкинул вон

бумаги негодной - на миллион.

Сегодняшнее

Высунув языки,

разинув рты,

носятся нэписты

в рьяни,

в яри...

А посередине

высятя

недоступные форты,

серые крепости советских канцелярий.

С угрозой выдвинув пики - перья,

закованные в бумажные латы,

работали канцеляристы,

когда

в двери

бумажка втиснулась:

“Сокращай штаты!”

Без всякого волнения,

без всякой паники

завертелись колеса канцелярской механики.

Один берет.

Другая берет.

Бумага взад.

Бумага вперед.

По проторенному другими следу

через замзава проплыла к преду.

Пред в коллегию внес вопрос:

“Обсудите!

Аппарат оброс”.

Все в коллегии спорили стойко.

Решив вести работу рысью,

немедленно избрали тройку.

Тройка выделила комиссию и подкомиссию.

Комиссию распирала работа.

Комиссия работала до четвертого пота.

Начертили схему:

кружки и линии,

которые красные, которые синие.

Расширив штат сверхштатной сотней,
работали и в праздник и в день субботний.

Согнулись над кипами,

расселись в ряд,

щеголяют выкладками,

цифрами пещрят.

Глотками хриплыми,

ртами пенными

вновь вопрос подымался в пленуме.

Все предлагали умно и трезво:

“Вдвое урезать!”

“Втрое урезать!”

Строчил секретарь -

от работы в мыле:

постановили - слушали,

слушали - постановили...

Всю ночь,

над машинкой склонившись низко,

резолуции переписывала и переписывала машинистка.

И...

через неделю
забрёдшие киски
играли листиками из переписки.

Моя резолюция

По-моему,
это
- с другого бочка -
знаменитая сказка про белого бычка.

Конкретное предложение

Я,
как известно,
не делопроизводитель.
Поэт.
Канцелярских способностей у меня нет.
Но, по-моему,
надо
без всякой хитрости

взять за трубу канцелярию

и вытрясти.

Потом

над вытряхнутыми

посидеть в тиши,

выбрать одного и велеть:

“Пиши!”

Только попросить его:

“Ради бога,

пиши, товарищ, не очень много!”

1922

МОЯ РЕЧЬ НА ГЕНУЭЗСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Не мне российская делегация вверена,

Я -

самозванец на конференции Генуэзской.

Дипломатическую вежливость товарища Чичерина

дополню по-моему -

просто и резко.

Слушай!

Министерская компанийка!

Нечего заплывшими глазками мерцать.

Сквозь фраки спокойные вижу -

паника

трясет лихорадкой ваши сердца.

Неужели

без смеха

думать в силе,

что вы

на конференцию

нас пригласили?

В штыки бросаясь на Перекоп идти,

мятежных склоняя под красное знамя,

трудом сгибаясь в фабричной копоти,-

мы знали -

заставим разговаривать с нами.

Не просьбой просителей язык замер,

не нищие, жмурящиеся от господского света,-

мы ехали, осматривая хозяйскими глазами

грядущую

Мировую Федерацию Советов.

Болтают язычишки газетных строк:

“Испытать их сначала...”

Хватили лишку!

Не вы на испытание даете срок -

а мы на время даем передышку.

Лишь первая фабрика взвила дым -

враждой к вам

в рабочих

вспыхнули души.

Слюной ли речей пожары вражды

на конференции

нынче

затушим?!

Долги наши,

каждый медный грош,

считают “Матэны”,

считают “Таймсы”.

Считаться хотите?

Давайте!

Что ж!

Посчитаемся!

О вздернутых Врангелем,

о расстрелянном,

о заколотом

память на каждой крымской горе.

Какими пудами

какого золота

оплатите это, господин Пуанкаре?

О вашем Колчаке - Урал спросите!

Зверством - аж горы вгонялись в дрожь.

Каким золотом -

хватит ли в Сити?!-

оплатите это, господин Ллойд-Джордж?

Вонзите в Волгу ваше зрение:

разве этот

голодный ад,

разве это

мужицкое разорение -

не хвост от ваших войн и блокад?

Пусть

кладбищами голодной смерти

каждый из вас протащится сам!

На каком -

на железном, что ли, эксперте

не встанут дыбом волоса?

Не защититесь пунктами резолюций - плотин.

Мировая -

ночи пальбой веселя -

революция будет -

и велит:

“Плати

и по этим российским вексям!”

И розовые краснеют мало-помалу.

Тише!

Не дыша!

Слышите

из Берлина

первый шаг

трех Интернационалов?

Растя единство при каждом ударе,

идем.

Прислушайтесь -

вздрагивает здание.

Я кончил.

Милостивые государи,

можете продолжать заседание.

1922

ГЕРМАНИЯ

Германия -

это тебе!

Это не от Рапалло.

Не наркомвнешторжым я расчетам внял.

Никогда,

никогда язык мой не трепала

комплиментщины официальной болтовня.

Я не спрашивал,

Вильгельму,

Николаю прок ли,-

разбираться в дрызгах царственных не мне.

Я

от первых дней

войнищу эту проклял,

плюнул рифмами в лицо войне.

Распустив демократические слюни,

шел Керенский в орудийном гуле.

С теми был я,

кто в июне

отстранял

от вас

нацеленные пули.

И, когда стянув полков ободья,

сжали горла вам французы и британцы,

голос наш

взвивался песней о свободе,

руки фронта вытянул брататься.

Сегодня

хожу

по твоей земле, Германия,

и моя любовь к тебе

расцветает романнее и романнее.

Я видел -
цепенеют верфи на Одере,
я видел -
фабрики сковывает тишь.
Пусть,-
не верю,
что на смертном одре

лежишь.
Я давно
с себя
лохмотья наций скинул.
Нищая Германия,
позволь
мне,
как немцу,
как собственному сыну,
за тебя твою распеснить боль.

Рабочая песнь

Мы сеем,
мы жнем,
мы куем,
мы прядем,
рабы всемогущих Стиннесов.

Но мы не мертвы.

Мы еще придем.

Мы еще наметим и кинемся.

Обернулась шибером,

улыбка на морде,-

история стала.

Старая врет.

Мы еще придем.

Мы пройдем из Норденов

сквозь Вильгельмов пролет Бранденбургских ворот.

У них доллары.

Победа дала.

Из унтерденлиндских отелей

ползут,

вгрызают в горло доллар,

пируют на нашем теле.

Терпите, товарищи, расплаты во имя...

За все -

за войну,

за после,

за раньше,

со всеми,

с ихними

и со своими

мы рассчитаемся в Красном реванше...

На глотке колено.

Мы - зверьи рычим.

Наш голос судорогой немится...

Мы знаем, под кем,

мы знаем, под чьим

еще подымутся немцы.

Мы

еще

извеселим берлинские улицы.

Красный флаг,-

мы заждались -

вздымайся и рей!

Красной песне

из окон каждого Шульца

откликайся,

свободный

с Запада

Рейн.

Это тебе дарю, Германия!

Это

не долларов тыщи,

этой песней счета с голодом не свести.

Что ж,

и ты

и я -

мы оба нищи, -

у меня

это лучшее из всего, что есть.

1922 - 1923

О ПОЭТАХ

Стихотворение это -
одинаково полезно и для редактора
и для поэтов

Всем товарищам по ремеслу:
несколько идей
о “прожигании глаголами сердец
людей”.

Что поэзия?!

Пустяк.

Шутка.

А мне от этих шуточек жутко.

Мысленным оком окидывая Федерацию -
готов от боли визжать и драться я.

Во всей округе -
тысяч двадцать поэтов изогнулись в дуги.
От жизни сидячей высохли в жгут.

Изголодались.

С локтями голыми.

Но денно и ночью

жгут и жгут

сердца неповинных людей “глаголами”.

Написал.

Готово.

Спрашивается - прожег?

Прожег!

И сердце и даже бок.

Только поймут ли поэтические стада,

что сердца

сгорают -

исключительно со стыда.

Посудите:

сидит какой-нибудь верзила

(мало ли слов в России есть?!).

А он

вытягивает,

как булавку из ила,

пустяк,

который полегше зарифмоплесть.

много ль в языке такой чуши,

чтоб сама

колокольчиком

лезла в уши?!!

Выберет...

и опять отчесывает вычески,

чтоб образ был “классический”,

“поэтический”.

Вычешут...

и опять кряхтят они:

любят ямбы редактора лающие.

А попробуй

в ямб

пойди и запихни

какое-нибудь слово,

например, “млекопитающееся”.

Потеют как следует

над большим листом.

А только сбоку

на узеньком клочочке

коротенькие строчки растянулись глистом.

А остальное -

одни запятые да точки.

Хороший язык взял да и искрошил,

зря только на обучение тратились гроши.

В редакции

поэтов банда такая,

что у редактора хронический разлив желчи.

Банду локтями,

дверями толкают,

курьер орет: “Набилось сволочи!”

Не от мира сего -

стоят молча.

Поэту в редкость удачи лучи.

Разве что редактор заталмудится слишком,

и врасплох удастся ему всучить

какую-нибудь

позапрошлогоднюю

залежавшуюся “веснишку”.

И, наконец,

выпускающий,

над чушью фыркая,
режет набранное мелким петитнком
и затыкает стихами дырку за дыркой,
на горе родителям и на радость критикам.
И лезут за прибавками наборщик и наборщица.
Оно понятно -
набирают и морщатся.

У меня решение одно отлежалось:

помочь людям.

А то жалость!

(Особенно предложение пригодилось к весне б,
когда стихом зачитывается весь нэп.)

Я не против такой поэзии.

Отнюдь.

Весною тянет на меланхолическую нудь.

Но долой рукоделие!

Что может быть старей

кустарей?!

Как мастер этого дела

(ко мне не прицепитесь)

сообщу вам об универсальном рецепте-с.

(Новость та,

что моими мерами

поэты заменяются редакционными курьерми.)

Рецепт

(Правила простые совсем:

всего - семь.)

1. Берутся классики,
свертываются в трубку
и пропускаются через мясорубку.
2. Что получится, то
откидывают на решето.
3. Откинутое выставляется на вольный дух.
(Смотри, чтоб на “образы” не насело мух!)
4. Просушиваемое перетряхивается еле
(чтоб мягкие знаки чересчур не затвердели).
5. Сушится (чтоб не успело перевечниться)
и сыпется в машину:
обыкновенная перечница.

6. Затем

раскладывается под машиной

липкая бумага

(для ловли мушиной).

7. Теперь просто;

верти ручку,

да смотри, чтоб рифмы не сбились в кучку!

(Чтоб “кровь” к “любовь”,

”тень” ко “дню”,

чтоб шли аккуратненько

одна через одну.)

Полученное вынь и...

готово к употреблению:

к чтению,

к декламированию,

к пению.

А чтоб поэтов от безработной меланхолии

вылечить,

чтоб их не тянуло портить бумажки,

отобрать их от добрейшего Анатолия
Васильича
и передать
товарищу Семашке.

1923

О “ФИАСКАХ”, “АПОГЕЯХ”
И ДРУГИХ НЕВЕДОМЫХ ВЕЩАХ

На съезде печати
у товарища Калинина
великолепнейшая мысль в речь вклинена!
“Газетчики,
думайте о форме!”
До сих пор мы
не подумали об усовершенствовании статейной формы.
Товарищи газетчики,
СССР оглазейте,-
как понимается описываемое в газете.

Акуловкой получена газет связка.

Читают.

В буквы глаза втыкают.

Прочли:

- “Пуанкаре терпит фиаско”.-

Задумались.

Что это за “фиаска” за такая?

Из-за этой “фиаски”

грамотей Ванюха

чуть не разодрался!

- Слушай, Петь,

с “фиаской” востро держи ухо;

даже Пуанкаре приходится его терпеть.

Пуанкаре не потерпит какой -нибудь клячи.

Даже Стиннеса -

и то! -

прогнал из Рура.

А этого терпит.

Значит, богаче.

Американец, должно.

Понимаешь, дура?! -

С тех пор,
когда самогонщик,
местный туз,
проезжал по Акуловке, гремя коляской,
в уважение к богатству,
скидавая картуз,
его называли -
Господином Фиаской.

Последние известия получили красноармейцы.

Сели.

Читают, газетиной вея.

- О французском наступлении в Руре имеется?

- Да, вот написано:

“Дошли до своего апогея”,

- Товарищ Иванов!

Ты ближе.

Эй!

На карту глянь!

Что за место такое:

А-п-о-г-е-й? -

Иванов ищет.

Дело дрянь.

У парня

аж скулу от напряжения свело.

Каждый город просмотрел,

каждое село.

“Эссен есть -

Апогея нету!

Деревушка махонькая, должно быть, это.

Верчусь -

аж дыру провертел в сапоге я -

не могу найти никакого Апогея!”

Казарма

малость

посоветчалась.

Наконец -

товарищ Петров взял слово:

- Сказано: до своего дошли.

Ведь не до чужого?!

Пусть рассеется сомнений дым.

Будь он селом или градом,
своего “апогея” никому не отдадим,
а чужих “апогеев” - нам не надо.-

Чтоб мне не писать, впустую оря,
мораль вывожу тоже:
то, что годится для иностранного словаря,
газете - не гоже.

1923

ПАРИЖ

(Разговорчики с Эйфелевой башней)

Обшаркан миллионом ног.

Ишшелестен тыщей шин.

Я борозжу Париж -

до жути одинок,

до жути ни лица,

до жути ни души.

Вокруг меня -
авто фантастят танец,
вокруг меня -
из зверорыбьих морд -
еще с Людовиков
свистит вода, фонтанясь.
Я выхожу
на Place de la Concorde.
Я жду,
пока,
подняв резную главку,
домовьей слезкою умаяна,
ко мне,
к большевику,
на явку
выходит Эйфелева из тумана.
- Т-ш-ш-ш,
башня,
тише шлепайте! -
увидят! -
луна - гильотинная жуть.

Я вот что скажу

(пришипился в шепоте,

ей

в радиоухо

шепчу,

жужжу);

- Я разагитировал вещи и здания.

Мы -

только согласия вашего ждем.

Башня -

хотите возглавить восстание?

Башня -

мы

вас выбираем вождем!

Не вам -

образцу машинного гения -

здесь

таять от аполлинеровских вирш.

Для вас

не место - место гниения -

Париж проституток,

поэтов,

бирж.

Метро согласились,

метро со мною -

они

из своих облицованных нутр

публику выплюют -

кровью смоят

со стен

плакаты духов и пудр.

Они убедились -

не ими литься

вагонам богатых.

Они не рабы!

Они убедились -

им

более к лицам

наши афиши,

плакаты борьбы.

Башня -

улиц не бойтесь!

Если

метро не выпустит уличный грунт -

грунт

исполосуют рельсы.

Я поднимаю рельсовый бунт.

Бойтесь?

Трактиры заступятся стаями?

Бойтесь?

На помощь придет Рив-гош.

Не бойтесь!

Я уговорился с мостами.

Вплавь

реку

переплыть

не легко ж!

Мосты,

распалясь от движения злого,

подымутся враз с парижских боков.

Мосты забунтуют.

По первому зову -

прохожих ссыпят на камень быков.

Все вещи вздыбятся.

Вещам невмоготу.

Пройдет

пятнадцать лет

иль двадцать,

обдрябнет сталь,

и сами

вещи

тут

пойдут

Монмартрами на ночи продаваться.

Идемте, башня!

К нам!

Вы -

там,

у нас,

нужней!

Идемте к нам!

В блесенье стали,

в дымах -

мы встретим вас,

Мы встретим вас нежней,
чем первые любимые любимых.

Идем в Москву!

У нас

в Москве

простор.

Вы

- каждый! -

будете по улице иметь.

Мы

будем холить вас;

раз сто

за день

до солнц расчистим вашу сталь и медь.

Пусть

город ваш,

Париж франтих и дур,

Париж бульварных ротозеев,

кончается один, в сплошной складбищась Лувр,
в старье лесов Булонских и музеев.

Вперед!

Шагни четверкой мощных лап,
прибитых чертежами Эйфеля,
чтоб в нашем небе твой израдиило лоб,
чтоб наши звезды пред тобою сдрейфили!

Решайтесь, башня,-
нынче же вставляйте все,
разворотив Париж с верхушки и до низу!

Идемте!

К нам!

К нам, в СССР!

Идемте к нам -

я

вам достану визу!

1923

ГАЗЕТНЫЙ ДЕНЬ

Рабочий

утром

глазеет в газету.

Думает:

“Нам бы работешку эту!

Дело тихое, и нету чище.

Не то что по кузницам отмахивать ручища.

Сиди себе в редакции в беленькой сорочке -

и гони строчки.

Нагнал,

расставил запятые да точки,

подписался,

под подпись закорючку,

и готово:

строчки растут как цветочки.

Ручки в брючки,

в стол ручку,

получил построчные -

и, ленивой ивой

склоняясь над кружкой,

дуй пиво”.

В искоренение вредного убеждения
вынужден описать газетный день я.

Как будто

весь народ,

который

не поместился под башню Сухареву,-

пришел торговаться в редакционные коридоры.

Тыщи!

Во весь дух ревут.

“Где объявления?”

Потеряла собачку я!”

Голосит дамочка, слезками пачкаясь.

“Караул!”

Отчаянные вопли прорезали.

“Миллиард?”

С покойничка?

За строку нонпарели?”

Завжилотдел.

Не глаза - жжение.

Каждому сует какие-то опровержения.

Кто-то крестится.

Клянется крещеным лбом:

“Это я - настоящий Бим-Бом!”

Все стены уставлены какими-то дядьями.

Стоят кариатидами по стенкам голым.

Это “начинающие”.

Помахивая статьями,

по дороге к редактору стоят частоколом.

Два.

Редактор вливает барином.

В два с четвертью

из барина,

как из пристяжной,

умученной выездом парным,-

паром вздымается испарина.

Через минуту

из кабинета редакторского рев:

то ручкой по папке,

то по столу бац ею.

Это редактор,

собрав бухгалтеров,

потеет над самоокупацией.

У редактора к передовице лежит сердце.

Забудь!

Про сальдо язычишкой треплет.

У редактора -

аж волос вылезит от коммерции,

лечет редактор про “кредит и дебет”.

Пока редактор завхоза ест -

раз сто телефон вгрызается лаем.

Это ставку учетверяет Мострест.

И еще грозитя:

“Удесятерю в мае”.

Наконец, освободился.

Минуточек лишка...

Врывается начинающий.

Попробуй - выставь!

“Прочтите немедля!

Замечательная статьяшка”,

а в статьешке -

листов триста!

Начинающего унимают диалектикой нечеловечьей.

Хроникер врывается:

“Там,

в Замоскворечье,-

выловлен из Москвы-реки -

живой гиппопотам!”

Из РОСТА

на редактора

начинает литься

сенсация за сенсацией,

за небылицей небылица.

Нет у РОСТА лучшей радости,

чем всучить редактору невероятнейшей гадости.

Извергая старательность, как Везувий и Этна,

курьер врывается.

“К редактору!

Лично!”

В пакете

с надписью:

- Совершенно секретно -

повестка

на прошлогоднее заседание публичное.

Затем курьер,
красный, как малина,
от НКВД.
Кроет рьяно.
Передовик
президента Чжан Цзо-лина
спутал с гаолянном.
Наконец, библиограф!
Что бешеный вол.
Машет книжкой.
Выражается резко.
Получил на рецензию
юрист -
хохол -
учебник гинекологии
на древнееврейском!
Вокруг
за столами
или перьев скрежет,
или ножницы скрипят:
писателей режут.

Секретарь

у фельетониста,

пропотевшего до сорочки,

делает из пятисот -

полторы строчки.

Под утро стихает редакционный раж.

Редактор в восторге,

Уехал.

Улажено.

Но тут...

Самогоном упился метранпаж,

лишь свистят под ротационкой ноздри метранпажины.

Спит редактор.

Снится: Мострест

так высоко взвинтил ставки -

что на колокольню Ивана Великого влез

и хохочет с колокольной главки.

Просыпается.

До утра проспал без просыпа.

Ручонки дрожат.

Газету откроют.

Ужас!

Не газета, а оспа.

Шрифт по статьям расплылся икрою.

Из всей газеты,

как из моря риф,

выглядывает лишь -

парочка чьих-то рифм.

Вид у редактора...

такой вид его,

что видно сразу -

нечему завидовать.

Если встретите человека белее мела,

худющего,

худей, чем газетный лист,-

умозаклучайте смело:

или редактор,

или журналист.

1923

МЫ НЕ ВЕРИМ!

Тенью истемня весенний день,
выклеен правительственный бюллетень.

Нет!

Не надо!

Разве молнии велишь

не литься?

Нет!

не оковать язык грозы!

Вечно будет

тысячестраницый

грохотать

набатный

ленинский язык.

Разве гром бывает немостою болен?!

Разве сдержишь смерч,

чтоб вихрем не кипел?!

Нет!

не ослабеет ленинская воля
в миллиононосильной воле РКП.

Разве жар

такой

термометрами меряется?!

Разве пульс

такой

секундами гудит?!

Вечно будет ленинское сердце

клокотать

у революции в груди.

Нет!

Нет!

Не-е-т...

Не хотим,

не верим в белый бюллетень.

С глаз весенних

сгинь, навязчивая тень!

1923

ТРЕСТЫ

В Москве

редкое место -

без вывееки того или иного треста.

Сто очков любому вперед дадут -

у кого семейное счастье худо.

Тресты живут в любви,

в ладу

и супружески строятся друг против друга.

Говорят:

меж трестами неурядицы,-

Ложь!

Треста

с трестом

водой не разольешь.

На одной улице в Москве

есть

(а может нет)

такое место:

стоит себе тихо “хвостотрест”,

а напротив -

вывеска “копытотреста”.

Меж трестами

через улицу,

в служении лют,

весь день суетится чиновный люд.

Я тепер хозяйством обзавожусь немножко.

(Купил уже вилки и ложки.)

Только вот что:

беспокоит всякая крошка.

После обеда

на клеенке -

сплошные крошки.

Решил купить,

так или иначе,

для смахивания крошек

хвост телячий.

Я не спекулянт -

из поэтического теста.

С достоинством влазю в дверь “хвостотреста”.

Народищу - уйма.

Просто неопишимо.

Стоят и сидят

толпами и гущами.

Хлопают и хлопают дверные створки.

Коридор -

до того забит торгующими,

что его

не прочистишь цистерной касторки.

Отчаявшись пробиться без указующих фраз,

спрашиваю:

- Где здесь на хвосты ордера?-

У вопрошаемого

удивление на морде.

- Хотите,- говорит,- на копыто ордер?-

Я к другому -

невозмутимо, как день вешний:

- Где здесь хвостики?

- Извините,- говорит,- я не здешний,-

Подхожу к третьему

(интеллигентный быдто) -

а он и не слушает:

- Угодно - с копыто?

- Да ну вас с вашими копытами к маме,
подать мне сюда заведующего хвостами!-

Врываюсь в канцелярию:

пусто, как в пустыне,
только чей-то чай на столике стынет.

Под вывеской -

“без доклада не лезьте”

читаю:

“Заведующий принимает в “копытотресте”.-

Взбесился.

Выбежал.

Во весь рот

гаркнул:

- Где из “хвостотреста” народ?-

Сразу завопило человек двести:

- Не знает.

Бедненький!

Они посредничают в “копытотресте”,

а мы в “хвостотресте”,
по копыту посредники.

Если вам по хвостам -
идите туда:

они там.

Перейдите напротив

- тут мелко -

спросите заведующего

и готово - сделка.

Хвост через улицу перепрут рысы

только 100 процентов с хвоста -

за комиссию.-

Я

способ прекрасный для борьбы им выискал:

как-нибудь

в единый мах -

с треста на трест перевесить вывески,

и готово:

все на своих местах.

А чтоб те или иные мошенники

с треста на трест не перелетели птичкой,

посредников на цепочки,
к цепочке ошейники,
а на ошейнике -
фамилия
и трестова кличка.

1923

17 АПРЕЛЯ

Мы

о царском плене

забыли за 5 лет.

Но тех,

за нас убитых на Лене,

никогда не забудем.

Нет!

Россия вздрогнула от гнева злобного,

когда

через тайгу

до нас

от ленского места лобного -
донесся расстрела гул.

Легли,
легли Октября буревестники,
глядели Сибири снега:
их,
безоружных,
под пуль песенки
топтала жандарма нога.

И когда
фабрикантище ловкий
золотые
горстями загребал,
липла
с каждой
с пятирублевки
кровь
упрятанных тундрам в гроба.

Но напрасно старался Терещенко

смыть

восставших

с лица рудника.

Эти

первые в троне трещинки

не залижет никто.

Никак.

Разгуделась весть о расстреле,

и до нынче

гудит заряд,

по российскому небу расстрелясь,

Октябрем разгорелась заря.

Нынче

с золота смыты пятна.

Наши

тыщи сияющих жил.

Наше золото.

Взяли обратно.

Приказали:

- Рабочим служи! -

Мы

сомкнулись красными ртами.

Быстра шагов краснофлагих гряда.

Никакой не посмеет ротмистр
сыпать пули по нашим рядам.

Нынче
течем мы.

Красная лава.

Песня над лавой
свободная пенится.

Первая
наша
благодарная слава
вам, Ленцы!

1923

ВЕСЕННИЙ ВОПРОС

Страшное у меня горе.

Вероятно -
лишусь сна.

Вы понимаете,
вскоре

в РСФСР

придет весна.

Сегодня

и завтра

и веков испокон

шатается комната -

солнца пропойца.

Невозможно работать.

Определенно обеспокоен.

А ведь откровенно говоря -

совершенно не из-за чего беспокоиться

Если подойти серьезно -

так-то оно так.

Солнце посветит -

и пройдет мимо.

А вот попробуй -

от окна оттяни кота.

А если и животное интересуется улицей,

то мне

это -

просто необходимо.

На улицу вышел

и встал в лени я,

не в силах...

не сдвинуть с места тело.

Нет совершенно

ни малейшего представления,

что ж теперь, собственно говоря, делать?

И за шиворот

и по носу каплет безбожно.

Слушаешь.

Не смахиваешь.

Будто стих.

Юридически -

куда хочешь идти можно,

но фактически -

сдвинуться

никакой возможности.

Я, например,

считаюсь хорошим поэтом.

Ну, скажем,

могу

доказать:

”самогон - большое зло”.

А что про это?

Чем про это?

Ну нет совершенно никаких слов.

Например:

город советские служащие искрапили,
приветствуй весну,
ответь салютно!

Разучились -

нечем ответить на капли.

Ну, не могут сказать -

ни слова.

Абсолютно!

Стали вот так вот -

смотрят рассеянно.

Наблюдают -

скальвают дворники лед.

Под башмаками вода.

Бассейны.

Сбоку брызжет.

Сверху льет.

Надо принять какие-то меры.

Ну, не знаю что,-

например:

выбрать день

самый синий,

и чтоб на улицах

улыбающиеся милиционеры

всем

в этот день

раздавали апельсины.

Если это дорого -

можно выбрать дешевле,

проще.

Например!

чтоб старики,

безработные,

неучащаяся детвора

в 12 часов

ежедневно

собирались на Советской

площади,

троекратно кричали б:

ура!

ура!

ура!

Ведь все другие вопросы

более или менее ясны.

И относительно хлеба ясно,

и относительно мира ведь.

Но этот

кардинальный вопрос

относительно весны

нужно

во что бы то ни стало

теперь же урегулировать.

1923

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Мне

надоели ноты -

много больно пишут что-то.

Предлагаю

без лишних фраз

универсальный ответ -

всем зараз.

Если

нас

войка тот или иной

захочет

спровоцировать войной,-

наш ответ:

нет!

А если

даже в мордобойном вопросе

руку протянут -

на конференцию, мол, просим,-

всегда

ответ:

да!

Если

держава

та или другая

ультиматумами пугает,-

наш ответ:

нет!

А если,

не пугая ультимативным видом,

просят:

- Заплатим друг другу по обидам,-

всегда

ответ:

да!

Если

концессией

или чем прочим

хотят

на шею насесть рабочим,-

наш ответ:

нет!

А если

взаимно,

вскрыв мошну тугую,

предлагают:

- Давайте

честно поторгуем!-

всегда

ответ:

да!

Если

хочется

сунуть рыло им

в то,

кого судим,

кого милуем,-

наш ответ:

нет!

Если

просто

попросят

одолжения ради -

простите такого-то -

дурак-дядя,-

всегда

ответ:

да!

Керзон,

Пуанкаре,

и еще кто там?!

Каждый из вас

пусть не поленится

и, прежде

чем испускать зряшние ноты,

прочтет

мое стихотвореньице.

1923

ВОРОВСКИЙ

Сегодня,

пролетариат,

гром голосов раскуй,
забудь
о всепрощенье и воске.

Приконченный

фашистской шайкой воровской,
в последний раз
Москвой
пройдет Воровский.

Сколько не станет...

Сколько не стало...

Скольких - в клочья...

Скольких - в дым...

Где б ни сдали.

Чья б ни сдала.

Мы не сдали,

мы не сдадим.

Сегодня

гнев

скругли

в огромный

бомбы мяч.

Сегодня

голоса

размолний штычьим блеском.

В глазах

в капиталистовых маячь.

Чертись

по королевским занавескам.

Ответ

в мильон шагов

пошли

на наглость нот.

Мильонную толпу

у стен кремлевских вызмей.

Пусть

смерть товарища

сегодня

подчеркнет

бессмертье

дела коммунизма.

1923

БАКУ

Баку.

Город ветра.

Песок плюет в глаза.

Баку.

Город пожаров.

Полыхание Балахан.

Баку.

Листья - копоть.

Ветки - провода.

Баку.

Ручьи -

чернила нефти.

Баку.

Плосковерхие дома.

Горбоносые люди.

Баку.

Никто не селится для веселья.

Баку.

Жирное пятно в пиджаке мира.

Баку.

Резервуар грязи,

но к тебе

я тянусь

любовью

более -

чем притягивает дервиша Тибет,

Мекка - правоверного,

Иерусалим -

христиан

на богомолье.

По тебе

машинами вздыхают

миллиарды

поршней и колес.

Поцелуют

и опять

целуют, не стихая,

маслом,

нефтью,

тихо

и врасос.

Воле города

противостать не смея,

цепью оцепеневших тел

льнут

к Баку

покорно

даже змеи

извивающихся цистерн.

Если в будущее

крепко верится -

это оттого,

что до краев

изливается

столицам в сердце

черная

бакинская

густая кровь.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Дело земли -

вертеться.

Литься -

дело вод.

Дело

молодых гвардейцев -

бег,

галопа

вперед.

Жизнь шажком

стара нам.

Бегом

под знаменем алым.

Комсомольским

миллионным тараном

вперед!

Но этого мало.

Полками

ПО ПОЛКАМ КНИЖНЫМ,
чтоб буквы
и то смяло.

Мысль
засеем
и выжнем.

Вперед!
Но этого мало.

Через самую
высочайшую высь
махни атакующим валом.

Новым
чувством
мысль

будоражь!
Но и этого мало.

Ковром
вселенную взвей.

Моль
из вселенной
выбей!

Вели

лететь

левой

всей

вселенской

глыбе!

1923

НОРДЕРНЕЙ

Дыра дырой,

ни хорошая, ни дрянная -

немецкий курорт,

живу в Нордернее.

Небо

то луч,

то чайку роняет.

Море

блестящей, чем ручка дверная.

Полон рот

красот природ:

то волны

приливом

полберега выруют,

то краб,

то дельфинье выплеснет тельце,

то примусом волны фосфоресцируют,

то в море

закат

киселем раскиселится.

Тоска!..

Хоть бы,

что ли,

громовый раскат.

Я жду не дождусь

и не в силах дождаться,

но верую в ярую,

верую в скорую.

И чудится:

из-за островочка

кронштадтцы

уже выплывают

и целят “Авророю”.

Но море в терпенье,

и буре не вывести.

Волну

и не гладят ветровы пальчики.

По пляжу

впластались в песок

и в ленивости

купальщицы млеют,

млеют купальщички.

И видится:

буря вздымается с дюны.

“Купальщички,

жиром набитые бочки,

спасайтесь!

Покроет,

измелет

и сдует.

Песчинки - пули,

песок - пулеметчики”.

Но пляж

буржуйкам

ласкает подошвы.

Но ветер,

песок

в ладу с грудастыми.

С улыбкой:

- как все в Германии дешево!-

валютчики

греют катары и астмы.

Но это ж,

наверно,

красные роты.

Шаганья знакомая разноголосица.

Сейчас на табльдотчиков,

сейчас на табльдоты

накинутся,

врежутся,

ринутся,

бросятся.

Но обер

на барыню

косится рабы:

фашистский

на барыньке

знак муссолинится.

Сося

и вгрызаясь в щупальцы крабы,

глядят,

как в море

закатище вклинится.

Чье сердце

октябрьскими бурями вымыто,

тому ни закат,

ни моря револицые,

тому ничего,

ни красот,

ни климатов,

не надо -

кроме тебя,

Революция!

1923

МОСКВА - КЕНИГСБЕРГ

Проезжие - прохожих реже.

Еще храпит Москва деляг.

Тверскую жрет,

Тверскую режет

сорокасильный “Каделяк”.

Обмахнуло

радиатор

горизонта веером.

- Eins!

zweil!

dreil! -

Мотора гром.

В небо дверью -

аэродром.

Брик.

Механик.

Ньюбольд.

Пилот.

Вещи.

Всем по пять кило.

Влезли пятеро.

Земля попятилась.

Разбежались дорожки -
ящеры.

Ходынка

накрылась скатертью.

Красноармейцы,

Ходынкой стоящие,

стоя ж -

назад катятся.

Небо -

не ты ль?..

Звезды -

не вы ль это?!

Мимо звезды

(нельзя без виз)!

Навылет небу,

всему навывлет,
пали -
земной
отлетающий низ!
Развернулось солнечное это.
И пошли
часы
необычайниться.
Города,
светящиеся
в облачных просветах.
Птица
догоняет,
не догнала -
тянется...
Ямы воздуха.
С размаха ухаем.
Рядом молния.
Сощурился Ньюбольд.
Гром мотора.
В ухе

и над ухом.

Но не раздраженье.

Не боль.

Сердце,

чаще!

Мотору вторь.

Слились сладчайше

я

и мотор:

”Крылья Икар

в скалы низверг,

чтоб воздух - река

тек в Кенигсберг.

От чертежных дел

седел Леонардо,

чтоб я

летел,

куда мне надо.

Калечился Уточкин,

чтоб близко-близко,

от солнца на чуточку,

парить над Двинском.

Рекорд в рекорд

вбивал Горрб,

чтобы я

вот -

этой тучей-горой.

Коптел

над "Гномом"

Юнкере и Дукс,

чтоб спорил

с громом

моторов стук".

Что же -

для того

конец крылам Икариным,

человечество

затем

трудом заводов никло, -

чтобы этакий

Владимир Маяковский,

барином,

Кенигсбергами
распархивался
на каникулы?!
Чтобы этакой
бесхвостой
и бескрылой курице
меж подушками
усесться куце?!
Чтоб кидать,
и не выглядывая из гондолы,
кожуру
колбасную -
на города и доли?!
Нет!
Вылазьте из гондолы, плечи!
100 зрачков
глазейте в каждый глаз!
Завтрашнее,
послезавтрашнее человечество,
мой
неодолимый

стальнорукий класс,-

я

благодарю тебя

за то,

что ты

в полетах

и меня,

слабейшего,

вковал своим звеном.

Возлагаю

на тебя -

земля труда и пота -

горизонта

огненный венок.

Мы взлетели,

но еще - не слишком.

Если надо

к Марсам

дуги выгнуть -

сделай милость,

дай

отдать

мою жизнишку.

Хочешь,

вниз

с трех тысяч метров

прыгну?!

Berlin, 6 сентября, 1923 г.

КИЕВ

Лапы елок,

лапки,

лапушки...

Все в снегу,

а теплые какие!

Будто в гости

к старой,

старой бабушке

я

вчера

приехал в Киев.

Вот стою

на горке

на Владимирской.

Ширь вовсю -

не вымчатъ и перу!

Так

когда-то,

рассиявшись в выморозки,

Киевскую

Русь

оглядывал Перун.

А потом -

когда

и кто,

не помню толком,

только знаю,

что сюда вот

по льду,

да и по воде,

в порогах,

волоком -

шли

с дарами

к Диру и Аскольду.

Дальше

было солнце

куполам в литагры.

- На колени, Русь!

Согнись и стой.-

До сегодня

нас

Владимир гонит в лавры.

Плеть креста

сжимает

каменный святой.

Шли

из мест

таких,

которых нету глуше,-

прадеды,

прапрадеды

и пра пра пра!..

Много

всяческих

кровавых безделушек

здесь у бабушки

моей

по берегам Днепра.

Был убит,

и снова встал Столыпин,

памятником встал,

вложивши пальцы в китель.

Снова был убит,

и вновь

дрожали липы

от пальбы

двенадцати правительств.

А теперь

встают

с Подола

дымы

киевская грудь

гудит,

котлами грета.

Не святой уже -

другой,

земной Владимир

крестит нас

железом и огнем декретов.

Даже чуть

зарусофильствовал

от этой шири!

Русофильство,

да другого сорта.

Вот

моя

рабочая страна,

одна

в огромном мире.

- Эй!

Пуанкаре!

возьми нас?..

Черта!

Пусть еще

последний,

старый батька

содрогает

плачем

лавры звонницы.

Пусть

еще

врезается с Крещатика

волчий вой:

”Даю - беру червонцы!”

Наша сила -

правда,

ваша -

лавры звоны.

Ваша -

дым кадильный,

наша -

фабрик дым.

Ваша мощь -

червонец,

наша -

стяг червонный

- Мы возьмем,

займем

и победим.

Здравствуй

и прощай, седая бабушка!

Уходи с пути!

скорее!

ну-ка!

Умирай, старуха,

спекулянтка,

набожка.

Мы идем -

ватага юных внуков!

1924

УХ, И ВЕСЕЛО!

О скуке

на этом свете

Гоголь

говаривал много.

Много он понимает -

этот самый ваш

Гоголь!

В СССР

от веселости

стонут

целые губернии и волости.

Например,

со смеха

слезы потопом

на крохотном перегоне

от Киева до Конотопа.

Свечи

кажут

язычьи кончики.

11 ночи.

Сидим в вагончике.

Разговор

перекидывается сам

от бандитов

к Брынским лесам.

Остановят поезд -

минута паники.

И мчи

в Москву,

укутавшись в подштанники.

Осоловели;

поезд

темный и душный,

и легли,

попрятав червонцы

в отдушины.

4 утра.

Скок со всех ног.

Стук

со всех рук:

“Вставай!

Открывай двери!

Чай, не зимняя спячка.

Не медведи-звери!”

Где-то

с перепугу

загрохотал наган,

у кого-то

в плевательнице

застряла нога.

В двери

новый стук

раздраженный.

Заплакали

разбуженные

дети и жены.

Будь что будет...

Жизнь -

на ниточке!

Снимаю цепочку,

и вот...

Ласковый голос:

”Купите открытки,
пожертвуйте
на воздушный флот!”

Сон

еще
не сошел с сонных,
ищут
радостно
карманы в кальсонах.

Черта

вытащишь
из голой ляжки.

Наконец,

разыскали
копеечные бумажки.

Утро,

вдали
петухи пропели...

- Через сколько

лет

соберет он на пропеллер?

Спрашиваю,

под плед

засовывая руки:

- Товарищ сборщик,

есть у вас внуки?

- Есть,-

говорит.

- Так скажите

внучке,

чтоб с тех собирала,

- на ком брючки.

А таким способом

- через тысячную ночку -

соберете

разве что

на очки летчику.-

Наконец,

задыхаясь от смеха,

поезд

взял

и дальше поехал.

К чему спать?

Позевывает пассажир.

Сны эти

только

нагоняют жир.

Человеческим

происхождением

гордятся простофили

А я

сожалею,

что я

не филин.

Как филинам полагается,

не предаваясь сну,

ждал бы

сборщиков,

влезши на сосну.

9-е ЯНВАРЯ

О боге болтая,

о смирении говоря,

помни день -

9-е января.

Не с красной звездой -

в смирении тупом

с крестами шли

за Гапоном-попом.

Не в сабли

врубались

конармией-птицей -

белели

в руках

листы петиций.

Не в горло

вгрызались

царевым лампасникам -

плелись

в надежде на милость помазанника.

Скор

ответ

величества

был:

“Пули в спины!

в груди!

и в лбы!”

Позор без названия,

ужас без имени

покрыл и царя,

и площадь,

и Зимний.

А поп

на забрызганном кровью требнике

писал

в приход

царевы серебряники.

Не все враги уничтожены.

Есть!

Раздуйте

опять

потухшую месть.

Не сбиты

с Запада

крепости вражьи.

Буржуи

рабочих

сгибают в рожья.

Рабочие,

помните русский урок!

Затвор осмотрите,

штык

и курок.

В споре с врагом -

одно решение:

Да здравствуют битвы!

Долой прощения!

1924

КОМСОМОЛЬСКАЯ

Смерть -
не сметь!.

Строит,
рушит,
кроит
и рвет,

тихнет,
кипит
и пенится,

гудит,
говорит,
молчит
и ревет -

юная армия:
ленинцы.

Мы
новая кровь
городских жил,
тело нив,

ткацкой идей

нить,

Ленин -

жил,

Ленин -

жив,

Ленин -

будет жить.

Залили горем.

Свезли в мавзолей

частицу Ленина -

тело.

Но тленью не взять -

ни земле,

ни золе -

первейшее в Ленине -

дело.

Смерть,

косу положи!

Приговор лжив.

С таким
небесам
не блажить.

Ленин -
жил.

Ленин -
жив.

Ленин -
будет жить.

Ленин -
жив
шаганьем Кремля -

вождя
капиталовых пленников.

Будет жить,
и будет
земля

гордиться именем:
Ленинка.

Еще
по миру

пройдут мятежи -
сквозь все межи
коммуне

путь проложить,
Ленин -
жил.

Ленин -
жив.

Ленин -
будет жить.

К сведению смерти,
старой карги,
гонящей в могилу
и старящей:

“Ленин” и “Смерть” -
слова-враги.

“Ленин” и “Жизнь” -
товарищи.

Тверже
печаль держи.

Грудью

в горе прилив.

Нам -

не нить.

Ленин -

жил.

Ленин -

жив.

Ленин -

будет жить.

Ленин рядом.

Вот

он.

Идет

и умрет с нами.

И снова

в каждом рожденном рожден -

как сила,

как знанье,

как знамя.

Земля,

под ногами дрожи.

За все рубежи

слова -

взвивайтесь кружить.

Ленин -

жил.

Ленин -

жив.

Ленин -

будет жить.

Ленин ведь

тоже

начал с азов,-

жизнь -

мастерская геньина.

С низа лет,

с класса низов -

рвись

разгромадиться в Ленина.

Дрожите, дворцов этажи!

Биржа нажив,

будешь

битая

выть.

Ленин -

жил.

Ленин -

жив.

Ленин -

будет жить.

Ленин

больше

самых больших,

но даже

и это

диво

создали всех времен

малыши -

мы,

малыши коллектива.

Мускул

узлом вяжи.

Зубы-ножи -

в знанье -

вонзай крошить.

Ленин -

жил.

Ленин -

жив.

Ленин -

будет жить.

Строит,

рушит,

кроит

и рвет,

тихнет,

кипит

и пенится,

гудит,

молчит,

говорит

и ревет -

юная армия:

ленинцы.

Мы

новая кровь

городских жил,

тело нив,

ткацкой идей

нить.

Ленин -

жил.

Ленин -

жив.

Ленин -

будет жить.

31 марта 1924 г.

ЮБИЛЕЙНОЕ

Александр Сергеевич,

разрешите представиться.

Маяковский.

Дайте руку

Вот грудная клетка.

Слушайте,

уже не стук, а стон;

тревожусь я о нем,

в щенка смиренном львенке.

Я никогда не знал,

что столько

тысяч тонн

в моей

позорно легкомыслой головенке.

Я тащу вас.

Удивляетесь, конечно?

Стиснул?

Больно?

Извините, дорогой.

У меня,

да и у вас,

в запасе вечность.

Что нам

потерять

часок-другой?!

Будто бы вода -

давайте

мчать, болтая,

будто бы весна -

свободно

и раскованно!

В небе вон

луна

такая молодая,

что ее

без спутников

и выпускать рискованно.

Я

теперь

свободен

от любви

и от плакатов.

Шкурой

ревности медведь

лежит когтист.

Можно

убедиться,

что земля поката,-

сядь

на собственные ягодицы

и катись!

Нет,

не навяжусь в меланхолишке черной,

да и разговаривать не хочется

ни с кем.

Только

жабры рифм

топырит учащенно

у таких, как мы,

на поэтическом песке.

Вред - мечта,

и бесполезно грезить,

надо

весть

служебную нуду.

Но бывает -

жизнь

встает в другом разрезе,

и большое

понимаешь

через ерунду.

Нами

лирика

в штыки

неоднократно атакована,

ищем речи

точной

и нагой.

Но поэзия -

пресволочнейшая штуковина:

существует -

и ни в зуб ногой.

Например,

вот это -

говорится или блеется?

Синемордое,

в оранжевых усах,
Навуходоносором
библейцем -
“Коопсах”.

Дайте нам стаканы!

знаю
способ старый
в горе

дуть винище,
но смотрите -
из

выплывают

Red и White Star’ы
с ворохом
разнообразных виз.

Мне приятно с вами,-
рад,
что вы у столика.

Муза это

ловко
за язык вас тянет.

Как это

у вас

говаривала Ольга?..

Да не Ольга!

из письма

Онегина к Татьяне.

- Дескать,

муж у вас

дурак

и старый мерин,

я люблю вас,

будьте обязательно моя,

я сейчас же

утром должен быть уверен,

что с вами днем увижусь я.-

Было всякое:

и под окном стояние,

письма,

тряски нервное желе.

Вот

когда

и горевать не в состоянии -

это,

Александр Сергеич,

много тяжелей.

Айда, Маяковский!

Маячь на юг!

Сердце

рифмами вымучь -

вот

и любви пришел каюк,

дорогой Владим Владимыч.

Нет,

не старость этому имя!

Тушу

вперед стремя,

я

с удовольствием

справлюсь с двоими,

а разозлить -

и с тремя.

Говорят -

я темой и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-е-н!

Entre nous...

чтоб цензор не нацыкал.

Передам вам -

говорят -

видали

даже

двух

влюбленных членов ВЦИКа.

Вот -

пустили сплетню,

тешат душу ею.

Александр Сергеич,

да не слушайте ж вы их!

Может,

я

один

действительно жалею,

что сегодня

нету вас в живых.

Мне

при жизни

с вами

сговориться б надо.

Скоро вот

и я

умру

и буду нем.

После смерти

нам

стоять почти что рядом:

вы на Пе,

а я

на эМ.

Кто меж нами?

с кем велите зняться?!

Чересчур

страна моя

поэтами нища.

Между нами

- вот беда -

позатесался Надсон

Мы попросим,

чтоб его

куда-нибудь

на Ща!

А Некрасов

Коля,

сын покойного Алеши,-

он и в карты,

он и в стих,

и так

неплох на вид.

Знаете его?

вот он

мужик хороший.

Этот

нам компания -

пускай стоит.

Что ж о современниках?!

Не просчитались бы,

за вас

полсотни отдав.

От зевоты

скулы

разворачивает аж!

Дорогойченко,

Герасимов,

Кириллов,

Родов -

какой

одноробразный пейзаж!

Ну Есенин,

мужиковствующих свора.

Смех!

Коровою

в перчатках лаечных.

Раз послушаешь...

но это ведь из хора!

Балалаечник!

Надо,

чтоб поэт

и в жизни был мастак.

Мы крепки,

как спирт в полтавском штофе.

Ну, а что вот Безыменский?!

Так...

ничего...

морковный кофе.

Правда,

есть

у нас

Асеев

Колька.

Этот может.

Хватка у него

моя.

Но ведь надо

заработать сколько!

Маленькая,

но семья.

Были б живы -

стали бы

по Лефу соредактор.

Я бы

и агитки

вам доверить мог.

Раз бы показал:

- вот так-то мол,

и так-то...

Вы б смогли -

у вас

хороший слог.

Я дал бы вам

жиркость

и сукна,

в рекламу б

выдал

гумских дам.

(Я даже

ямбом подсюсюкнул,

чтоб только

быть

приятней вам.)

Вам теперь

пришлось бы

бросить ямб картавый.

Нынче

наши перья -

штык

да зубья вил,-

битвы революций

посерьезнее “Полтавы”,

и любовь

пограндиознее

онегинской любви.

Бойтесь пушкинистов.

Старомозгий Плюшкин,

перышко держа,

полезет

с перержавленным.

- Тоже, мол,

у лефов

появился

Пушкин.

Вот арап!

а состязается -

с Державиным...

Я люблю вас,

но живого,

а не мумию.

Навели

хрестоматийный глянец.

Вы

по-моему

при жизни

- думаю -

тоже бушевали.

Африканец!

Сукин сын Дантес!

Великосветский шкода.

Мы б его спросили:

- А ваши кто родители?

Чем вы занимались

до 17-го года? -

Только этого Дантеса бы и видели.

Впрочем,

что ж болтанье!

Спиритизма вроде.

Так сказать,

невольник чести...

пулею сражен...

Их

и по сегодня

много ходит -

всяческих

охотников

до наших жен.

Хорошо у нас

в Стране Советов.

Можно жить,

работать можно дружно.

Только вот

поэтов,

к сожаленью, нету -

впрочем, может,

это и не нужно.

Ну, пора:

рассвет

лучища выкалил.

Как бы

милиционер

разыскивать не стал.

На Тверском бульваре

очень к вам привыкли.

Ну, давайте,

подсажу

на пьедестал.

Мне бы

памятник при жизни

полагается по чину.

Заложил бы

динамиту

- ну-ка,

дрызнь!

Ненавижу

всяческую мертвечину!

Обожаю

всяческую жизнь!

1924

ПРОЛЕТАРИЙ,

В ЗАРОДЫШЕ ЗАДУШИ ВОЙНУ!

Будущие:

Дипломатия

- Мистер министр?

How do you do?

Ультиматум истек.

Уступки?

Не иду.

Фирме Морган

должен Крупп

ровно

три миллиарда

и руп.

Обложить облака!

Начать бои!

Будет добыча -

вам пай.

Люди - ваши,

расходы -

мои.

Good bye!

Мобилизация

“Смит и сын.

Самоговорящий ящик”.

Ящик

министр

придвинул быстро.

В раструб трубы,

мембране говорящей,

сорок

секунд

бубнил министр.

Сотое авеню.

Отец семейства.

Дочь

играет

цепочкой на отце.

Записал

с граммофона

время и место.

Фармацевт - как фармацевт.

Пять сортировщиков.

Вид водолаза.

Серых

масок

немигающий глаз -

уставили

в триста баллонов газа.

Блок

минуту

повизгивал лазя,

грузя

в кузова

”чумной газ”.

Клубы

Нью-Йорка

раскрылись в сроки,

раз

не разнился

от других разов.

Фармацевт

сиял,

убивши в покер

флеш-роялем

- четырех тузов.

Наступление

Штаб воздушных гаваней и доков.

Возд-воен-электрик

Джим Уост

включил

в трансформатор

заатлантических токов

триста линий -

зюд-ост.

Авиатор

в карте

к цели полета

вграфил

по линейке

в линию линия.

Ровно

в пять

без механиков и пилотов

взвились

триста

чудовищ алюминия.

Треугольник

- летящая фабрика ветра -

в воздух

риста винтов всвистал.

Скорость -

шестьсот пятьдесят километров.

Девять

тысяч

метров -

высота.

Грозой не кривясь,

ни от ветра резкого,

только -

будто

гигантский Кольт -

над каждым аэро

сухо потрескивал

ток

в 15 тысяч вольт.

Встали

стражей неба вражьего.

Кто умер -

счастье тому.

Знайте,

буржуями

сжигаемые заживо,

последнее изобретение:

”крематорий на дому”.

Бой

Город

дышал

что было мочи,

спал,

никак

не готовясь

к смертям.

Выползло

триста,

к дымочку дымочек.

Пошли

спиралью

снижаться, смердя.

Какая-то птица

- пустяк,

воробушки -

падала

в камень,

горохом ребрышки.

Крыша

рейхстага,

сиявшая лаково,

в две секунды

стала седая.

Бесцветный дух

дома обволакивал,

ник

к земле,

с этажей оседая.

“Спасайся, кто может,

с десятого -

прыга...”

Слово

свело

в холодеющем небе;

ножки,

еще минуту подрыгав,

рядом

легли -

успокоились обе.

Безумные

думали:

”Сжалим,

умолим”.

Когда

растаял

газ,

повися,-

ни человека,

ни зверя,

ни моли!

Жизнь

была

и вышла вся.

Четыре

аэро

снизились искоса,

лучи

скрестя

огромнейшим иксом.

Был труп

- и нет.

Был дом

- и нет его.

Жег

свет

фиолетовый.

Обделали чисто.

Ни дыма,

ни мрака.

Взорвали,

взрыли,

смыли,

взмели.

И город

лежит

погашенной маркой

на грязном,

рваном

пакете земли.

Победа

Морган.

Жена.

В корсетах.

Не двинется.

Глядя,

как

шампанское пенится,

Морган сказал:

- Дарю имениннице

немного разрушенное,

но хорошее именице!

Товарищи, не допустим!

Сейчас

подытожена

великая война.

Пишут

мемуары

истории писцы.

Но боль близких,

любимых, нам

еще

кричит

из сухих цифр.

30

миллионов

взяли на мушку,

в сотнях

миллионов

стенанье и вой.

Но и этот

ад

покажется погремушкой

рядом

с грядущей

готовящейся войной.

Всеми спинами,

по пленам драными,

руками,

брошенными
на операционном столе,
всеми
в осень
ноющими ранами,
всей трескотней
всех костылей,
дырами ртов,
- выбил бой! -
голосом,
визгом газовой боли -
сегодня,
мир,
крикни
- Долой!!!
Не будет!
Не хотим!
Не позволим!
Нациям
нет
врагов наций.

Нацию

выдумал

мира враг.

Выходи

не с нацией драться,

рабочий мира,

мира батрак!

Иди,

пролетарской армией топая,

штыки

последние

атакой выставь!

“Фразы

о мире -

пустая утопия,

пока

не экспроприрован

класс капиталистов”.

Сегодня...

завтра... -

а справимся все-таки!

Винным - смерть.

Невинным - вдвойне.

Сбейте

жирных

дюжины и десятки.

Миру - мир,

война - войне.

2 августа 1924 г.

СЕВАСТОПОЛЬ - ЯЛТА

В авто

насажали

разных армян,

рванулись -

и мы в пути.

Дорога до Ялты

будто роман:

все время

надо крутить.

Сначала

авто

подступает к горам,

охлаживая кряжевые.

Вот так и у нас

влюбленья пора:

наметишь -

и мчишь, ухаживая.

Авто

начинает

по солнцу трясть,

то жаренней ты,

то варенней:

так сердце

тебе

распалает страсть,

и грудь -

раскаленной жаровней.

Привал,

шашлык,

не вяжешь лык,

с кружением

нету сладу.

У этих

у самых

гроздьев шашлы -

совсем поцелуйная сладость.

То солнечный жар,

то ущелий тоска,-

не верь

ни единой версийке.

Который москит

и который мускат,

и кто персюки

и персики?

И вдруг вопьешься,

любовью залив

и душу,

и тело,

и рот.

Так разом

встают

облака и залив

в разрыве

Байдарских ворот.

И сразу

дорога

нудней и нудней,

в туннель,

тормозами тужась.

Вот куча камня,

и церковь над ней -

ужасом

всех супружеств.

И снова

почти

о скалы скулой,

с боков

побелелой глядит.

Так ревность

тебя

обступает скалой -

за камнем

любовник бандит.

А дальше -

тишь;

крестьяне, корпя,

лозой

разделали скаты.

Так,

свой виноградник

потом кропя,

и я

рисую плакаты.

Потом,

пропылясь,

проплывают года,

трусят

суетнею мышиною,

и лишь

развлекает

семейный скандал

случайно

лопнувшей шиной.

Когда ж

окончательно

это доест,

распух

от моторного гвалта -

- Стоп! -

И склепом

отдельный подъезд:

- Пожалте

червонец!

Ялта.

1924

ВЛАДИКАВКАЗ - ТИФЛИС

Только

нога

ступила в Кавказ,

я вспомнил,

что я -
грузин.

Эльбрус,
Казбек.

И еще -
как вас?!

На гору
горы грузи!

Уже
на мне
никаких рубях.

Бродягой,-
один архалук.

Уже
подо мной
такой карабах,

что Ройльсу -
и то б в похвалу.

Было:
с ордой,
загорел и носат,

старее

всего старья,

я влез,

веков девятнадцать назад,

вот в этот самый

в Дарьял.

Лезгинщик

и гитарист душой,

в многовековом поту,

я землю

прошел

и возделал мушой

отсюда

по самый Батум.

От этих дел

не вспомнят ни зги.

История -

врун даровитый,

бубнит лишь,

что были

царьки да князьки;

Ираклии,

Нины,

Давиды.

Стена -

и то

знакомая что-то.

В тахтах

вот этой вот башни -

я помню:

я вел

Руставели Шотой

с царицей

с Тамарою

шашни.

А после

катился,

костьями хрустя,

чтоб в пену

Тереку врыться.

Да это что!

Любовный пустяк!

И лучше

резвилась царица.

А дальше

я видел -

в пробоину скал

вот с этих

тропиночек узких

на сакли,

звеля,

опускались войска

золотопогонников русских.

Лениво

от жизни

взбираясь ввысь,

гитарой

душу отверз -

“Мхолот шен эртс

рац, ром чемтвис

Моуция

маглидгаи гмертс...”

И утро свободы

в кровавой росе

сегодня

встает поодаль.

И вот

я мечу,

я, мститель Арсен,

бомбы

5-го года.

Живились

в пажах

Князевы сынки,

а я

ежедневно

и наново

опять вспоминаю

все синяки

от плеток

всех Алихановых.

И дальше

история наша

хмура.

Я вижу

правлящих кучку.

Какие-то люди,

мутней, чем Кура,

французов чмокают в ручку.

Двадцать,

а может,

больше веков

волок

угнетателей узы я,

чтоб только

под знаменем большевиков

воскресла

свободная Грузия.

Да,

я грузин,

но не старенькой нации,

забитой

в ущелье в это.

Я -

равный товарищ

одной Федерации
грядущего мира Советов.

Еще

омрачается

день иной

ужасом

крови и яри.

Мы бродим,

мы

еще

не вино,

ведь мы еще

только мадчари.

Я знаю:

глупость - эдемы и рай!

Но если

пелось про это,

должно быть,

Грузию,

радостный край,

подразумевали поэты.

Я жду,
чтоб аэро
в горы взвились.

Как женщина,

мною
лелеема

надежда,

что в хвост
со словом “Тифлис”

вобъем

фабричные клейма.

Грузин я,

но не кинто озорной,

острящий

и пьющий после.

Я жду,

чтоб гудки

взревели зурной,

где шли

лишь кинто

да ослик.

Я чту

поэтов грузинских дар,

но ближе

всех песен в мире,

мне ближе

всех

и зурн

и гитар

лебедок

и кранов шаири.

Строй

во всю трудовую прыть,

для стройки

не жаль ломаний!

Если

даже

Казбек помешает -

срыть!

Все равно

не видать

в тумане.

1924

ТАМАРА И ДЕМОН

От этого Терека

в поэтах

истерика.

Я Терек не видел.

Большая потеряйка.

Из омнибуса

вразвалку

сошел,

поплевывал

в Терек с берега,

совал ему

в пену

палку.

Чего же хорошего?

Полный развал!

Шумит,

как Есенин в участке.

Как будто бы

Терек

сорганизовал,

проездом в Боржом,

Луначарский.

Хочу отвернуть

заносчивый нос

и чувствую:

стыну на грани я,

овладевает

мною

гипноз,

воды

и пены играние.

Вот башня,

револьвером

небу к висну,

разит

красотою нетроганой.

Поди,

подчини ее

преду искусств -

Петру Семенычу

Когану.

Стою,

и злоба взяла меня,

что эту

дикость и выступления

с такой бездарностью

я

променял

на славу,

рецензии,

диспуты.

Мне место

не в “Красных нивах”,

а здесь,

и не построчно,

а даром

реветь

стараться в голос во весь,
срывая

струны гитарам.

Я знаю мой голос:

паршивый тон,

но страшен

силою ярой.

Кто видывал,

не усомнится,

что

я

был бы услышан Тамарой.

Царица крепится,

взвинчена хоть,

величественно

делает пальчиком.

Но я ей

сразу:

- А мне начхать,

царица вы

или прачка!

Тем более

с песен -

какой гонорар?!

А стирка -

в семью копейка.

А даром

немного дарит гора:

лишь воду -

поди,

попей-ка!-

Взъярилась царица,

к кинжалу рука.

Козой,

из берданки ударенной.

Но я ей

по-своему,

вы ж знаете как -

под ручку...

любезно...

- Сударыня!

Чего кипятитесь,

как паровоз?

Мы

общей лирики лента.

Я знаю давно вас,

мне

много про вас

говаривал

некий Лермонтов.

Он клялся,

что страстью

и равных нет...

Таким мне

мерещился образ твой.

Любви я заждался,

мне 30 лет.

Полюбим друг друга.

Попросту.

Да так,

чтоб скала

распостелилась в пух.

От черта скраду

и от бога я!

Ну что тебе Демон?

Фантазия!

Дух!

К тому ж староват -

мифология.

Не кинь меня в пропасть,

будь добра.

От этой ли

струшу боли я?

Мне

даже

пиджак не жаль ободрать,

а грудь и бока -

тем более.

Отсюда

дашь

хороший удар -

и в Терек

замертво треснется.

В Москве

больнее спускают...

куда!

ступеньки считаешь -

лестница.

Я кончил,

и дело мое сторона.

И пусть,

озверев от помарок,

про это

пишет себе Пастернак.

А мы...

соглашайся, Тамара! -

История дальше

уже не для книг.

Я скромный,

и я

бастую.

Сам Демон слетел,

подслушал,

и сник,

и скрылся,

смердя

впустую.

К нам Лермонтов сходит,

презрев времена.

Сияет -

”Счастливая парочка!”

Люблю я гостей.

Бутылку вина!

Налей гусару, Тамарочка!

1924

ХУЛИГАНЩИНА

Только

солнце усядется,

канув

за опустевшие

фабричные стройки,

стонут

окраины

от хулиганов
вроде вот этой
милой тройки.
Человек пройдет
и - марш поодаль.
Таким попадись!
Ежовые лапочки!
От них ни проезда,
от них
ни прохода
ни женщине,
ни мужчине,
ни электрической лампочке.
“Мадамочка, стой!
Провожу немножко...
Клуб?
Почему?
Ломай стулья!
Он возражает?
В лопатку ножиком!

Зубы им вычти!

Помножь им скуля!”

Гудят

в башке

пивные пары,

тощая мысль

самогоном

смята,

и в воздухе

даже не топоры,

а целые

небоскребы

стоэтажного

мата.

Рабочий,

этим ли

кровь наших жил?!

Наши дочки

этим разве?!

Пока не поздно -

конец положи
этой горланной
и грязной язве!

1924

ПОСМЕЕМСЯ!

СССР!

Из глоток из всех,
да так,
чтоб врагу аж смяться,
сегодня
раструбливай
радостный смех -
нам
можно теперь посмеяться!

Шипели: “Погибнут
через день, другой,
в крайности -
через две недели!”

Мы

гордо стоим,

а они дугой

изгибаются.

Ливреи надели.

Бились

в границы Советской страны:

“Не допустим

и к первой годовщине!”

Мы

гордо стоим,

а они -

штаны

в берлинских подвалах чинят.

Ллойд-Джорджи

ревели

со своих постов:

“Узурпаторы!

Бандиты!

Воришки!”

Мы

гордо стоим,

а они - раз сто

слетали,

как еловые шишки!

Они

на наши

голодные дни

радовались,

пожевывая пончики.

До урожая

мы доживаем,

а они

последние дожевали

милльончики!

Злорадничали:

”Коммунистам

надежды нет:

погибнут

не в мае, так в июне”.

А мы,

мы - стоим.

Мы - на 7 лет

ближе к мировой коммуне!

Товарищи,

вовсю

из глоток из всех -

да так, чтоб врагам аж смяться,

сегодня

раструбливайте

радостный смех!

Нам

есть над чем посмеяться!

1924

КРАСНАЯ ЗАВИСТЬ

Я

еще

не лыс

и не шамкаю,

все же

дядя

рослый с виду я.

В первый раз

за жизнь

малышам-ка я

барабанящим

позавидую.

Наша

жизнь -

в грядущее рваться,

оббивать

его порог,

вы ж

грядущее это

в двадцать

расшагаете

громом ног.

Нам

сегодня

корежит уши

громыханий

теплушечных

ржа.

Вас,

забывших

и имя теплушек,

разлетит

на рабфак

дирижабль.

Мы,

пергаменты

текстами саля,

подписываем

договора.

Вам

забыть

и границы Версаля

па борту

самолета-ковра.

Нам -

трамвай.

Попробуйте,

влезьте!

Полон.

Как в арифметике -

цифр.

Вы ж

в работу

будете

ездить,

самолет

выводя

под уздцы.

Мы

сегодня

двугривенный потный

отчисляем

от крох,

от жалований,

чтоб флот

взлетел

заработанный,

вам

за юность одну

пожалованный.

Мы

живем

как радиозайцы,

телефонные

трубки

крадя,

чтоб музыкам

в вас

врезаться,

от Урала

до Крыма грядя.

Мы живем

только тем,

что тощи,

чуть полней бы -

и в комнате

душно.

Небо

будет

ваша жилплощадь -

не зажмет

на шири

воздушной.

Мы

от солнца,

от снега зависим.

Из-за дождика -

с богом

судятся.

Вы ж

дождем

раскрепите выси,

как только

заблагорассудится.

Динамиты,

бомбы,

газы -

самолетов

наших

фарш.

Вам

смертями

не сыпать наземь,

разлетайтесь

под звонкий марш.

К нам

известье

идет

с почтовым,

проплывает

радость -

год.

Это

глупое время

на что вам?

Телеграммой

проносится код.

Мы

в камнях

проживаем весны -

нет билета

и денег нет.

Вам

не будет

пространств поверстных -

сам

себе

проездной билет.

Превратятся

не скоро

в ягодку

словоцветы

О. Д. В. Ф.

Те,

кому

по три

и по два годка,

ВСПОМНИ

нас,

эти ягоды съев.

1925

ВЫВОЛАКИВАЙТЕ БУДУЩЕЕ!

Будущее

не придет само,

если

не примем мер.

За жабры его,- комсомол!

За хвост его,- пионер!

Коммуна

не сказочная принцесса,

чтоб о ней

мечтать по ночам.

Рассчитай,

обдумай,

нацелься -

и иди

хоть по мелочам.

Коммунизм

не только

у земли,

у фабрик в поту.

Он и дома

за столиком,

в отношениях,

в семье,

в быту.

Кто скрипит

матершиной смачной

целый день,

как немазанный воз,

тот,

кто млеет

под визг балалаечный,

тот

до будущего

не дорос.

По фронтам

пулеметами такать -

не в этом

одном

война!

И семей

и квартир атака

угрожает

не меньше

нам.

Кто не выдержал

натиск домашний,

спит

в уюте

бумажных роз,-

до грядущей

жизни мощной

тот

пока еще

не дорос.

Как и шуба,

и время тоже -

проедает

быта моль ее.

Наших дней

залежалых одежду
перетряхни, комсомолия!

1925

Цикл стихотворений “Париж” (1925 год)

ЕДУ

Билет -

щелк.

Щека -

чмок.

Свисток -

и рванулись туда мы,

куда,

как сельди,

в сети чулок

плывут

кругосветные дамы.

Сегодня приедет -

уродом-урод,

а завтра -

узнать посмейте-ка:

в одно

разубран

и город и рот -

помады,

огней косметика.

Веселых

тянет в эту вот даль.

В Париже грустить?

Едва ли!

В Париже

площадь

и та Этуаль,

а звезды -

так сплошь этуали.

Засвистывай,

трись,

врезайся и режь

сквозь Льежи

и об Брюссели.

Но нож

и Париж,

и Брюссель,

и Льеж -

тому,

кто, как я, обрусели.

Сейчас бы

в сани

с ногами -

в снегу,

как в газетном листе б...

Свисти,

заноси снегами

меня,

прихерсонская степь...

Вечер,

поле,

огоньки,

дальняя дорога,-

сердце рвется от тоски,

а в груди -

тревога.

Эх, раз,

еще раз,

стих - в пляс.

Эх, раз,

еще раз,

рифм хряск.

Эх,раз,

еще раз,

еще много, много раз...

Люди

разных стран и рас,

копая порядков грядки,

увидев,

как я

себя потряс,

скажут:

в лихорадке.

ГОРОД

Один Париж -

адвокатов,

казарм,

другой -

без казарм и без Эррио.

Не оторвать

от второго

глаза -

от этого города серого.

Со стен обещают:

“Un verre de koto

donne de l'energie”

Вином любви

каким

и кто

мою взбудоражит жизнь?

Может,

критики

знают лучше.

Может,

их

и слушать надо.

Но кому я, к черту, попутчик!

Ни души

не шагает

рядом.

Как раньше,

свой

раскачивай горб

впереди

поэтовых арб -

неси,

один,

и радость,

и скорбь,

и прочий

людской скарб.

Мне скучно

здесь

одному

впереди,-

поэту

не надо многого,-

пусть

только

время

скорей родит

такого, как я,

быстроногого.

Мы рядом

пойдем

дорожной пылью.

Одно

желанье

пучит:

мне скучно -

желаю

видеть в лицо,

кому это

я

попутчик?!

“Je suis un chameau”,

в плакате стоят

литеры,

каждая - фут.

Совершенно верно:

“Je suis”,-

это

”я”,

а “chameau” - это

”я верблюд”.

Лиловая туча,

скорей нагнись,

меня

и Париж полей,

чтоб только

скорей

зацвели огни

длиной

Елисейских полей.

Во все огонь -

и небу в темь
и в чернь промокшей пыли.

В огне

жуками

всех систем

жужжат

автомобили.

Горит вода,

земля горит,

горит

асфальт

до жжения,

как будто

зубрят

фонари

таблицу умножения.

Площадь

красивей

и тысяч

дам-болонок.

Эта площадь

оправдала б

каждый город.

Если б был я

Вандомская колонна,

я б женился

на Place la concorde.

1925

ВЕРЛЕН И СЕЗАН

Я стучаюсь

о стол,

о шкафа острия -

четыре метра ежедневно мерь.

Мне тесно здесь

в отеле Istria -

на коротышке

rue Campagne - Premiere.

Мне жмет.

Парижская жизнь не про нас -

в бульвары

тоску рассыпай.

Направо от нас -

Boulevard Montparnasse,

налево -

Boulevard Raspail.

Хожу и хожу,

не щадя каблука,-

хожу

и ночь и день я,-

хожу трафаретным поэтом, пока

в глазах

не встанут виденья.

Туман - парикмахер,

он делает гениев -

загримировал

одного

бородой -

Добрый вечер, m-г Тургенев.

Добрый вечер, m-me Виардо.

Пошел:

”За что боролись?

А Рудин?..

А вы,

именье

возьми подпальни...”

Мне

их разговор эмигрантский

нуден,

и юркаю

в кафе от скульни.

Да.

Это он,

вот эта сова -

не тронул

великого

тлен.

Приподнял шляпу:

“Comment ca va,

cher camarade Verlaine?”

Откуда вас знаю?

Вас знают все.

И вот

довелось состукаться.

Лет сорок

вы тянете

свой абсент

из тысячи репродукций.

Я раньше

вас

почти не читал,

а нынче -

вышло из моды,-

и рад бы прочесть -

не поймешь ни черта:

по-русски дрянь,-

переводы.

Не злитесь,-

со мной,

должно быть, и вы

знакомы

лишь понаслышке.

Поговорим

о пустяках путевых,

о нашинском ремеслишке.

Теперь

плохие стихи -

труха.

Хороший -

себе дороже.

С хорошим

и я б

свои потроха

сложил

под забором

тоже.

Бумаги

гладь

облевывая

пером,

концом губы -

поэт,

как блядь рублевая,

живет

с словцом любим.

Я жизнь

отдать

за сегодня

рад.

Какая это громада!

Вы чувствуете

слово -

пролетариат? -

ему

грандиозное надо.

Из кожи

надо

вылезать тут,

а нас -

к журнальчикам

премией.

Когда ж поймут,

что поэзия -

труд,

что место нужно

и время ей.

“Лицом к деревне”-

заданье дано,-

за гусли,

поэты-друзи!

Поймите ж -

лицо у меня

одно -

оно лицо,

а не флюгер.

А тут и ГУС

отверзает уста:

вопрос не решен.

”Который?

Поэт?

Так ведь это ж -

просто кустарь,

простой кустарь,

без мотора”.

Перо

такому

в язык вонзи,

прибей

к векам кунсткамер.

Ты врешь.

Еще

не найден бензин,

что движет

сердце кусками.

Идею

нельзя

замешать на воде.

В воде

отсыреет идея.

Поэт

никогда

и не жил без идей.

Что я -

попугай?

индейка?

К рабочему

надо
идти серьезней -
недооценили их мы.

Поэты,

покайтесь,
пока не поздно,
во всех
отглагольных рифмах.

У нас

поэт
событья берет -
спишет

вчерашний гул,
а надо

рваться
в завтра,
вперед,

чтоб брюки

трещали
в шагу.

В садах коммуны

вспомнят о барде -

какие

птицы

зальются им?

Что

будет

с веток

товарищ Вардин

рассвистывать

свои резолюции?!

За глотку возьмем.

”Теперь поори,

несбитая быта морда!”

И вижу,

зависть

зажглась и горит

в глазах

моего натюрморта.

И каплет

с Верлена

в стакан слеза.

Он весь -

как зуб на сверле.

Тут

к нам

подходит

Поль Сезан:

“Я

так

напишу вас, Верлен”.

Он пишет.

Смотрю,

как краска свежа.

Monsieur,

простите вы меня,

у нас

старикам,

как под хвост вожжа,

бывало

от вашего имени.

Бывало -

сезон,

наш бог - Ван-Гог,
другой сезон -
Сезан.
Теперь
ушли от искусства
вбок -
не краску любят,
а сан.
Птенцы -
у них
молоко на губах,-
а с детства
к смирению падки.
Большущее имя взяли
АХРР,
а чешут
ответственным
пятки.
Небось
не напишут
мой портрет,-

не трут

понапрасну

кисти.

Ведь то же

лицо как будто,-

ан нет,

рисуют

кто поцекистей.

Сезан

остановился на линии,

и весь

размерсился - тронутый.

Париж,

фиолетовый,

Париж в анилине,

вставал

за окном “Ротонды”.

1925

NOTRE-DAME

Другие здания

лежат,

как грязная кора,

в воспоминании

о NOTRE-DAME'е.

Прошедшего

возвышенный корабль,

о время зацепившийся

и севший на мель.

Раскрыли дверь -

тоски тяжелей;

желе

из железа -

нелепее.

Прошли

сквозь монаший

служилый елей

в соборное великолепие.

Читал

письмена,

украшавшие храм,
про боговы блага
на небе.

Спускался в партер,
подымался к хорам,
смотрел удобства
и мебель.

Я вышел -
со мной
переводчица-дура,
щебечет
бантиком-ротиком:

“Ну, как вам
нравится архитектура?

Какая небесная готика!”

Я взвесил все
и обдумал,-
ну вот:

он лучше Блаженного Васьки.

Конечно,
под клуб не пойдет -

темноват,-

об этом не думали

классики.

Не стиль...

Я в этих делах не мастак.

Не дался

старью на съедение.

Но то хорошо,

что уже места

готовы тебе

для сидения.

Его

ни к чему

перестраивать заново -

приладим

с грехом пополам,

а в наших -

ни стульев нет,

ни органов.

Копнешь -

одни купола.

И лучше б оркестр,

да игра дорога -

сначала

не будет финансов,-

а то ли дело

когда орган -

играй

хоть пять сеансов.

Ясно -

репертуар иной -

фокстроты,

а не сопенье.

Нельзя же

французскому Госкино

духовные песнопения.

А для рекламы -

не храм,

а краса -

старайся

во все тяжкие.

Электрорекламе -

лучший фасад:

меж башен

пустить перетяжки,

да буквами разными:

“Signe de Zoro”,

чтоб буквы бежали,

как мышь.

Такая реклама

так заорет,

что видно

во весь Boulmiche.

А если

и лампочки

вставить в глаза

химерам

в углах собора,

тогда -

никто не уйдет назад:

подряд -

битковые сборы!

Да, надо

быть

бережливым тут,

ядром

чего

не попортив.

В особенности,

если пойдут

громить

префектуру

напротив.

1925

ВЕРСАЛЬ

По этой

дороге,

спеша во дворец,

бесчисленные Людовики

трясли

в шелках

золоченых каретц

телес

десятипудовики.

И ляжек

своих

отмахав шатуны,

по ней,

марсельезой пропет,

плюя на корону,

теряя штаны,

бежал

из Парижа

Капет.

Теперь

по ней

веселый Париж

гоняет

авто россиян,-

кокотки,

рантье, подсчитавший барыш,

американцы

и я.

Версаль.

Возглас первый:

“Хорошо жили стервы!”

Дворцы

на тыши спален и зал -

и в каждой

и стол

и кровать.

Таких

вторых

и построить нельзя -

хоть целую жизнь

воровать!

А за дворцом,

и сюды

и туды,

чтоб жизнь им

была

свежа,

пруды,

фонтаны,
и снова пруды
с фонтаном
из медных жаб.
Вокруг,
в поощрение
жантильных манер,
дорожки
полны статуями -
езде Аполлоны,
а этих
Венер
безруких,-
так целые уймы.
А дальше -
жилья
для их Помпадурш -
Большой Трианон
и Маленький.
Вот тут
Помпадуршу

водили под душ,

вот тут

помпадуршины спальни.

Смотрю на жизнь -

ах, как не нова!

Красивость -

аж дух выматывает!

Как будто

влип

в акварель Бенуа,

к каким-то

стишкам Ахматовой.

Я все осмотрел,

поощупал вещи.

Из всей

красотищи этой

мне

больше всего

понравилась трещина

на столике

Антуанетты.

В него

штыка революции

клин

вогнали,

пляша под распевку,

когда

санкюлоты

поволокли

на эшафот

королевку.

Смотрю,

а все же -

завидные видики!

Сады завидные -

в розах!

Скорей бы

культуру

такой же выделки,

но в новый,

машинный розмах!

В музее

ВОТ ЭТИ

лачуги б вымести!

Сюда бы -

стальной

и стекольный

рабочий дворец

миллионной вместимости,-

такой,

чтоб и глазу больно.

Всем,

еще имеющим

купоны

и монеты,

всем царям -

еще имеющимся -

в назидание:

с гильотины неба,

головой Антуанетты,

солнце

покатилось

умирать на зданиях.

Расплылась

и лип

и каштанов толпа,

слегка

листочки ворся.

Прозрачный

вечерний

небесный колпак

закрыл

музейный Версаль.

1925

ЖОРЕС

Ноябрь,

а народ

зажат до жары.

Стою

и смотрю долго:

на шинах машинных

мимо -

шары

катаются

в треуголках.

Войной обогранные

руки

умыв

и красные

шансы

взвесив,

коммерцию

новую

вбили в умы -

хотят

спекульнуть на Жоресе.

Покажут рабочим -

смотрите,

и он

с великими нашими

тоже.

Жорес

настоящий француз.

Пантеон

не станет же

он

тревожить.

Готовы

потоки

слезливых фраз.

Эскорт,

колесницы - эффект!

Ни с места!

Скажите,

кем из вас

в окне

пристрелен

Жорес?

Теперь

пришли

панихидами выть.

Зорче,

рабочий класс!

Товарищ Жорес,

не дай убить

себя

во второй раз.

Не даст.

Подняв

знамен мачтовый лес,

спаяв

людей

в один

плывущий флот,

громовый и живой,

по-прежнему

Жорес

проходит в Пантеон

по улице Суфло

Он в этих криках,

несущихся вверх,

в знаменах,

в шагах,

в горбах.

“Vivent les Soviets!..

A bas la guerre!..

Capitalisme a bas!..”

И вот -

взбегает огонь

и горит,

и песня

краснеет у рта.

И кажется -

снова

в дыму

пушкари

идут

к парижским фортам.

Спиною

к витринам отжали -

и вот

из книжек

выжались

тени.

И снова

71-й год

встает

у страниц в шелестении.

Гора

на груди

могла б подняться.

Там

гневный окрик орет:

“Кто смел сказать,

что мы

в семнадцатом

предали

французский народ?

Неправда,

мы с вами,

французские блузники.

Забудьте

этот

поклеп дрянной.

На всех баррикадах

мы ваши союзники,

рабочий Крезо
и рабочий Рено”.

1925

ПРОЩАНИЕ

(Кафе)

Обыкновенно

мы говорим:

все дороги

приводят в Рим.

Не так

у монпарнасца.

Готов поклясться.

И Рем

и Ромул,

и Ремул и Ром

в “Ротонду” придут

или в “Дом”.

В кафе

идут

по сотням дорог,

плывут

по бульварной реке.

Вплываю и я:

“Garçon,

un grog

americain!”

Сначала

слова,

и губы,

и скулы

кафейный гомон сливал.

Но вот

пошли

вылупляться из гула

и лепятся

фразой

слова.

“Тут

проходил

Маяковский давече,

хромой -

не видали рази?”-

“А с кем он шел?”-

”С Николай Николаичем”.-

“С каким?”

”Да с великим князем!”-

“С великим князем?

Будет врать!

Он кругл

и лыс,

как ладонь.

Чекист он,

послан сюда

взорвать...”-

“Кого?”-

”Буа-дю-Булонь.

Езжай, мол, Мишка...”

Другой поправил:

“Вы врете,

противно слушать!

Совсем и не Мишка он,

а Павел.

Бывало, сядем -

Павлуша!-

а тут же

его супруга,

княжна,

брюнетка,

лет под тридцать...” -

“Чья?

Маяковского?

Он не женат”.

“Женат -

и на императрице”.-

“На ком?

Ее ж расстреляли...”-

”И он

поверил -

Сделайте милость!

Ее ж Маяковский спас

за трильон!

Она же ж

омолодилась!”

Благоразумный голос:

”Да нет,

вы врете -

Маяковский - поэт”.-

“Ну, да,-

вмешалось двое саврасов,-

в конце

семнадцатого года

в Москве

чекой конфискован Некрасов

и весь

Маяковскому отдан.

Вы думаете -

сам он?

Сбондил до йот -

весь стих,

с запятыми,

скраден.

Достанет Некрасова

и продает -

червонцев по десять

на день”.

Где вы,

свахи?

Подымись, Агафья!

Предлагается

жених невиданный.

Видано ль,

чтоб человек

с такою биографией

был бы холост

и старел невыданный?!

Париж,

тебе ль,

столице столетий,

к лицу

эмигрантская нудь?

Смахни

за ушми

эмигрантские сплетни.

Провинция!-

не продохнуть.-

Я вышел

в раздумье -

черт его знает!

Отплюнулся -

тьфу, напасть!

Дыра

в ушах

не у всех сквозная -

другому

может запасть!

Слушайте, читатели,

когда прочтете,

что с Черчиллем

Маяковский

дружбу вертит

или

что женился я

на кулиджевской тете,
то, покорнейше прошу,-
не верьте.

1925

ПРОЩАНИЕ

В авто,
последний франк разменяв.
- В котором часу на Марсель? -
Париж
бежит,
проводя меня,
во всей
невозможной красе.

Подступай
к глазам,
разлуки жижка,
сердце
мне

сантиментальностью расквась!

Я хотел бы

жить

и умереть в Париже,

если б не было

такой земли -

Москва.

1925

Цикл “Стихи об Америке” (1925 год)

ИСПАНИЯ

Ты - я думал -

райский сад.

Ложь

подпивших бардов.

Нет -

живьем я вижу

склад

”ЛЕОПОЛЬДО ПАРДО”.

Из прилипших к скалам сел

опустясь с опаской,

чистокровнейший осел

шпарит по-испански.

Все плебейство выбив вон,

в шляпы влезла по нос.

Стал

простецкий

”телефон”

гордым

”телефонос”.

Чернь волос

в цветах горит.

Щеки в шаль орамив,

сотня с лишним

сеньорит

машет веерами.

От медуз

воде сине.

Глуби -

версты мера.

Из товарищей

”сеньор”

стал

и “кабальеро”.

Кастаньеты гонят сонь.

Визги...

пенье...

страсти!

А на что мне это все?

Как собаке - здрасите!

1925

6 МОНАХИНЬ

Воздев

печеные

картошки личек,

черней,

чем негр,

не выдавший бань,
шестеро благочестивейших католичек

влезло

на борт

парохода “Эспань”.

И сзади

и спереди

ровней, чем веревка.

Шали,

как с гвоздика,

с плеч висят,

а лица

обвила

белейшая гофрировка,

как в пасху

гофрируют

ножки поросят.

Пусть заполнится годами

жизни квота -

стоит

ТОЛЬКО

вспомнить это диво,
раздирает
рот
зевота
шире Мексиканского залива.

Трезвые,
чистые,
как раствор борной,
вместе,
эскадронам, садятся есть.

Пообедав, сообща
скрываются в уборной.

Одна зевнула -
зевают шесть.

Вместо известных
симметричных мест,
где у женщин выпуклость,-
у этих выем;

в одной выемке -
серебряный крест,
в другой - медали

со Львом

и с Пиет.

Продрав глазенки

раньше, чем можно,-

в раю

(ужо!)

отоспятся лишек,-

оркестром без дирижера

шесть дорожных

вынимают

евангелишек.

Придешь ночью -

сидят и бормочут.

Рассвет в розы -

бормочут, стервозы!

И днем,

и ночью, и в утра, и в полдни

сидят

и бормочут,

дуры господни.

Если ж

день

чуть-чуть

помрачнеет с виду,

сойдут в кабину,

12 галош

наденут вместе

и снова выйдут,

и снова

идет

елейный скулеж.

Мне б

язык испанский!

Я б спросил, взъяренный

- Ангелицы,

попросту

ответ поэту дайте -

если

люди вы,

то кто ж

тогда

вороны?

А если

вы вороны,

почему вы не летаете?

Агитпропщики!

не лезьте вон из кожи.

Весь земной

обревизуйте шар.

Самый

замечательный безбожник

не придумает

кощунственнее шарж!

Радуйся, распятый Иисусе,

не слезай

с гвоздей своей доски,

а вторично явишься -

сюда

не суйся -

все равно:

повесишься с тоски!

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Испанский камень

слепящ и бел,

а стены -

зубьями пил.

Пароход

до двенадцати

уголь ел

и пресную воду пил.

Повел

пароход

окованным носом

и в час,

сопя,

вобрал якоря

и понесся.

Европа

скрылась, мельчась.

Бегут

по бортам
водяные глыбы,
огромные,
как года.

Надо мною птицы,
подо мною рыбы,
а кругом -
вода.

Недели
грудью своей атлетической -
то работяга,
то в стельку пьян -
вздыхает
и гремит
Атлантический
океан.

”Мне бы, братцы,
к Сахаре подобраться...

Развернись и плюнь -
пароход внизу.

Хочу топлю,

хочу везу.

Выходи сухой -

сварю ухой.

Людей не надо нам -

малы к обеду.

Не трону...

ладно...

пускай едут..."

Волны

будоражить мастера:

детство выплеснут;

другому -

голос милой.

Ну, а мне б

опять

знамена простирать!

Вон -

пошло,

затархтело,

загромило!

И снова

вода

присмирела сквозная,

и нет

никаких сомнений ни в ком.

И вдруг,

откуда-то -

черт его знает!-

встает

из глубин

воднячий Ревком.

И гвардия капель -

воды партизаны -

взбираются

ввысь

с океанского рва,

до неба метнутся

и падают заново,

порфиру пены в клочки изодрав.

И снова

спаялись воды в одно,

волне

повелев

разбурлиться вождем.

И прет волница

с-под тучи

на дно -

приказы

и лозунги

сыплет дождем.

И волны

клянутся

всеводному Цику

оружие бурь

до победы не класть.

И вот победили -

экватору в циркуль

Советов-капель бескрайняя власть.

Последних волн небольшие митинги

шумят

о чем-то

в возвышенном стиле.

И вот

океан
улыбнулся умытенький
и замер
на время
в покое и в штиле.
Смотрю за перила.
Старайтесь, приятели!
Под трапом,
нависшим
ажурным мостком,
при океанском предприятии
потеет
над чем-то
волновий местком.
И под водой
деловито и тихо
дворцом
растет
кораллов плетенка,
чтоб легче жилось
трудоу китихе

с рабочим китом
и дошкольным китенком,
Уже
и луну
положили дорожкой.

Хоть прямо
на пузе,
как по суху, лазь.
Но враг не сунется -
в небо
сторожко
глядит,
не сморгнув,
Атлантический глаз.
То стынешь
в блеске лунного лака,
то стонешь,
облитый пеною ран.
Смотрю,
смотрю -

и всегда одинаков,

любим,

близок мне океан.

Вовек

твой грохот

удержит ухо.

В глаза

тебя

опрокинуть рад.

По шири,

по делу,

по крови,

по духу -

моей революции

старший брат.

1925

МЕЛКАЯ ФИЛОСОФИЯ НА ГЛУБОКИХ МЕСТАХ

Превращусь

не в Толстого, так в толстого,-
ем,
пищу,
от жары балда.

Кто над морем не философствовал?

Вода.

Вчера

океан был злой,
как черт,

сегодня

смирней
голубицы на яйцах.

Какая разница!

Все течет...

Все меняется.

Есть

У воды
своя пора:

часы прилива,

часы отлива.

А у Стеклова

вода

не сходила с пера.

Несправедливо.

Дохлая рыбка

плывет одна.

Висят

плавнички,

как подбитые крылышки.

Плывет недели,

и нет ей -

ни дна,

ни покрышки.

Навстречу

медленней, чем тело тюленья,

пароход из Мексики,

а мы -

туда.

Иначе и нельзя.

Разделение

труда.

Это кит - говорят.

Возможно и так.

Вроде рыбьего Бедного -

обхвата в три.

Только у Демьяна усы наружу,

а у кита

внутри.

Годы - чайки.

Вылетят в ряд -

и в воду -

брюшко рыбешкой пичкать.

Скрылись чайки.

В сущности говоря,

где птички?

Я родился,

рос,

кормили соскою,-

жил,

работал,
стал староват...

Вот и жизнь пройдет,
как прошли Азорские
острова.

Атлантический океан, 3 июля 1925

БЛЕК ЭНД УАЙТ

Если

Гавану
окинуть мигом -

рай-страна,
страна что надо.

Под пальмой

на ножке
стоят фламинго.

Цветет

коларио
по всей Ведадо.

В Гаване

все

разграничено четко:

у белых доллары,

у черных - нет.

Поэтому

Вилли

стоит со щеткой

у “Энри Клей энд Бок, лимитед”.

Много

за жизнь

повымел Вилли -

одних пылинок

целый лес,-

поэтому

волос у Вилли

вылез,

поэтому

живот у Вилли

влез.

Мал его радостей тусклый спектр:

шесть часов поспать на боку,

да разве что

вор,

портовой инспектор,

кинет

негру

цент на бегу.

От этой грязи скроешься разве?

Разве что

стали б

ходить на голове.

И то

намели бы

больше грязи:

волосьев тыщи,

а ног -

две.

Рядом

шла

нарядная Прадо.

То звякнет,
то вспыхнет
трехверстный джаз.

Дурню покажется,
что и взаправду
бывший рай
в Гаване как раз.

В мозгу у Вилли
мало извилин,
мало восходов,
мало посева.

Одно -
единственное
вызубрил Вилли
тверже,
чем камень
памятника Масео:

“Белый
ест
ананас спелый,
черный -

гнилью моченый.

Белую работу

делает белый,

черную работу -

черный”.

Мало вопросов Вилли сверлили.

Но один был

закорюка из закорюк.

И когда

вопрос этот

влезал в Вилли,

щетка

падала

из Виллиных рук.

И надо же случиться,

чтоб как раз тогда

к королю сигарному

Энри Клей

пришел,

белей, чем облаков стада,

величественнейший из сахарных королей.

Негр

подходит

к туше дебелий:

“Ай бэг ер пардон, мистер Брэгг!

Почему и сахар,

белый-белый,

должен делать

черный негр?

Черная сигара

не идет в усах вам -

она для негра

с черными усами.

А если вы

любите

кофий с сахаром,

то сахар

извольте

делать сами”.

Такой вопрос

не проходит даром.

Король

из белого

становится желт.

Вывернулся

король

сообразно с ударом,

выбросил обе перчатки

и ушел.

Цвели

кругом

чудеса ботаники.

Бананы

сплетали

сплошной кров.

Вытер

негр

о белые подштанники

руку,

с носа утершую кровь.

Негр

посопел подбитым носом,

поднял щетку,

держась за скулу.

Откуда знать ему,

что с таким вопросом

надо обращаться

в Коминтерн,

в Москву?

Гавана, 5 июля 1925 г.

СИФИЛИС

Пароход подошел,

завыл,

погудел -

и скован,

как каторжник беглый.

На палубе

700 человек людей,

остальные -

негры.

Подплыл

катерок

с одного бочка.

Вбежав

по лесенке хромой,

осматривал

врач в роговых очках:

“Которые с трахомой?”

Припудрив прыщи

и наружность вымыв,

с кокетством себя волоча,

первый класс

дефилировал

мимо

улыбавшегося врача.

Дым

голубой

из двустволки ноздрей

колечком

единым

свив,

первым

шел

в алмазной заре

свиной король -

Свифт.

Трубка

воняет,

в метр длиной.

Попробуй к такому -

полезь!

Под шелком кальсон,

под батистом-лино,

поди,

разбери болезнь.

“Остров,

дай

воздержанья зарок!

Остановить велите!”

Но взял

капитан

под козырек

и спущен Свифт -

сифилитик.

За первым классом

шел второй.

Исследуя

этот класс,

врач

удивлялся,

что ноздри с дырой,-

лез

и в ухо

и в глаз.

Врач смотрел,

губу своротив,

нос

под очками

взморща.

Врач

троих

послал в карантин

из

второклассного сборища.

За вторым

надвигался

третий класс,

черный от негритья.

Врач посмотрел:

четвертый час,

время коктейлей

питья.

- Гоните обратно

трюму в щель!

Больные -

видно и так.

Грязный вид...

И вообще -

оспа не привита.-

У негра

виски

ревмя ревут.

Валяется

в трюме

Том.

Назавтра

Тому

оспу привьют -

и Том

возвратится в дом.

На берегу

у Тома

жена.

Волоса

густые, как нефть.

И кожа ее

черна и жирна,

как вакса

”Черный лев”.

Пока

по работам

Том болтается,

- у Кубы

губа не дура -

жену его

прогнали с плантаций

за неотработку

натурой.

Луна

в океан

накидала монет,

хоть сбросься,

вбежав на насыпь!

Недели

ни хлеба,

ни мяса нет.

Недели -

одни ананасы.

Опять

пароход

привинтило винтом.

Следующий -

через недели!

Как дождаться

с голодным ртом?

- Забыл,

разлюбил,

забросил Том!

С белой

рогожу

делит!-

Не заработать ей

и не скрасть.

Везде

полисмены под зонтиком.

А мистеру Свифту

последнюю страсть

раздула

эта экзотика.

Потело

тело

под бельецом

от черненького мясца.

Он тыкал

доллары

в руку, в лицо,

в голодные месяца.

Схватились -

желудок,
пустой давно,
и верности тяжеловес.

Она

решила отчетливо:

“No!”,-

и глухо сказала:

“Yes!”

Уже

на дверь

плечом напирал

подгнивший мистер Свифт.

Его

и ее

наверх

в номера

взвинтил

услужливый лифт.

Явился

Том

через два денька.

Неделю

спал без просыпа.

И рад был,

что есть

и хлеб,

и деньга

и что не будет оспы.

Но день пришел,

и у кож

в темноте

узор непонятный вцеплен.

И дети

у матери в животе

онемевали

и слепли.

Суставы ломая

день ото дня,

года календарные вылистаны,

и кто-то

у тел

половину отнял

и вытянул руки

для милостыни.

Внимание

к негру

стало особое.

Когда

собиралась паства,

морали

наглядное это пособие

показывал

постный пастор:

“Карает бог

и его

и ее

за то, что

водила гостей!”

И слазило

черного мяса гнилье

с гнилых

негритянских костей.

В политику

этим

не думал ввязаться я.

А так -

срисовал для видика.

Одни говорят -

”цивилизация”,

другие -

”колониальная политика”.

1926

ХРИСТОФОР КОЛОМБ

Христофор Колумб был Христофор

Колумб - испанский еврей.

Из журналов.

1

Вижу, как сейчас,

объедки да бутылки...

В портишке,

известном

лишь кабачком,

Колумб Христофор

и другие забулдыги

сидят,

нахлобучив

шляпы бочком.

Христофора злят,

пристают к Христофору:

“Что вы за нация?

Один Сион!

Любой португалишка

даст тебе фору!”

Вконец извели Христофора -

и он

покрыл

дисканточком

щелканье пробок

(задели

в еврее

больную струну):

“Что вы лезете:

Европа да Европа!

Возьму

и открою другую

страну”.

Дивятся приятели:

”Что с Коломбом?

Вина не пьет,

не ходит гулять.

Надо смотреть -

не вывихнул ум бы.

Всю ночь сидит,

раздвигает циркуля”.

2

Мертвая хватка в молодом еврее;

думает,

не ест,

недосыпает ночей.

Лакеев

оттягивает

за фалды ливреи,

лезет

аж в спальни

королей и богачей.

“Кораллами торгуете?!

Дешевле редиски.

Сам

наловит

каждый мальчуган.

То ли дело

материк индийский:

не барахло -

бирюза,

жемчуга!

Дело верное:

вот вам карта.

Это океан,

а это -

мы.

Пунктиром путь -

и бриллиантов караты
на каждый полтинник,
данный займам”.

Тесно торгошам.

Томятся непоседы.

Посуху

и в год

не обернется караван.

И закапали

флорины и пезеты

Христофору

в продырявленный карман.

3

Идут,

посвистывая,

отчаянные из отчаянных.

Сзади тюрьма.

Впереди -

ни рубля.

Арабы,

французы,

испанцы

и датчане

лезли

по трапам

Коломбова корабля.

“Кто здесь Колумб?

До Индии?

В ночку!

(Чего не откроешь,

если в пузе орган!)

Выкатывай на палубу

белого бочку,

а там

вези

хоть к черту на рога!”

Прощанье - что надо.

Не отъезд - а помпа:

день

не просыхали

капли на усах,

Время

меряли,

вперяясь в компас.

Спяна

путали штаны и паруса.

Чуть не сшибли

маяк зажженный.

Палубные

не держатся на полу,

и вот,

быть может, отсюда,

с Жижона,

на всех парусах

рванулся Колумб.

4

Единая мысль мне сегодня любя,

что эти вот волны

Колумба лапили,

что в эту же воду

с Колумбова лба

стекали

пота

усталые капли.

Что это небо

землей обмеля,

на это вот облако,

вставшее с юга,-

“На мачты, братва!

глядите -

земля!”-

орал

рассудок теряющий юнга.

И вновь

океан

с простора раскосого

вбивал

в небеса

громыхающий клин,

а после

брался

с волной сарагоссовой.

и вместе

пучки травы волокни.

Он

этой же бури слушал лады.

Когда ж

затихает бури задор,

мерещатся

в водах

Колумба следы,

ведущие

на Сан-Сальвадор.

5

Вырастают дни

в бородатые месяцы.

Луны

мрут

у мачты на колу.

Надоело океану,

Атлантический бесится.

Взбешен Христофор,

извелся Колумб.

С тысячной волны трехпарусник

съехал.

На тысячу первую взбираться

надо.

Видели Атлантический?

Тут не до смеха!

Команда ярится -

устала команда.

Шепчутся:

”Черту ввязались в попутчики.

Дома плохо?

И стол и кровать.

Знаем мы

эти

жидовские штучки -

разные

Америки

закрывать и открывать!”

За капитаном ходят по пятам.

“Вернись!- говорят,

играют мушкой.-

Какой ты ни есть

капитан-раскапитан,

а мы тебе тоже

не фунт с осьмушкой”.

Лазит Коломб

на брамсель с фока,

глаза аж навькате,

исхудал лицом;

пустился вовсю:

придумал фокус

со знаменитым

Колумбовым яйцом.

Что яйцо? -

игрушка на день.

И день

не оттянешь

у жизни-воровки.

Галдит команда,

на Колумба глядя:

“Крепка

петля

из гонуэзской веревки.

Кончай,

Христофор,

собачий век!..”

И кортики

воздух

во тьме секут.

“Земля!”-

Горизонт в туманной

кайме.

Как я вот

в растущую Мексику

и в розовый

этот

песок на заре,

вглазелись.

Не смеют надеяться:

с кольцом экватора

в медной ноздре

вставал

материк индейцев.

6

Года прошли.

В старика

шипунa

смелъчал Атлантический,

гордый смолоду.

С бортов “Мажестиков”

любая шпана

плюет

в твою

седоусую морду.

Колумб!

твое пропало наследство!

В вонючих трюмах

твои потомки

с машинным адом

в горящем соседстве

лежат,

под щеку

подложивши котомки.

А сверху,

в цветах первоклассных розеток,

катаясь пузом

от танцев

до пьянки,

в уюте читален,

кино

и клозетов

катаются донны,

сеньоры

и янки.

Ты балда, Колумб,-

скажу по чести.

Что касается меня,

то я бы

лично -

я б Америку закрыл,

слегка почистил,

а потом

опять открыл -

вторично.

1925

ТРОПИКИ

(Дорога Вера-Круц - Мехико-сити)

Смотрю:

вот это -

тропики.

Всю жизнь

вдыхаю наново я.

А поезд

прет торопкий

сквозь пальмы,

сквозь банановые.

Их силуэты-веники

встают рисунком тошненьким:

не то они - священники,

не то они - художники.

Аж сам

не веришь факту:

из всей бузы и вара

встает

растенье - кактус

трубой от самовара.

А птички в этой печке

красивей всякой меры.

По смыслу -

воробейчики,

а видом -

шантеклеры.

Но прежде чем

осмыслил лес

и бред,

и жар,

и день я -

и день

и лес исчез

без вечера

и без

предупреждения.

Где горизонта борозда?!

Все линии

потеряны.

Скажи,

которая звезда

и где

глаза пантерины?

Не счел бы

лучший казначей

звезды

тропических ночей,

настолько

ночи августа

звездой набиты

нагусто.

Смотрю:

ни зги, ни тропки.

Всю жизнь

вдыхаю наново я.

А поезд прет

сквозь тропики,

сквозь запахи

банановые.

1926

МЕКСИКА

О, как эта жизнь читалась врасос!

Идешь.

Наступаешь на ноги.

В руках

превращается

ранец в лассо,

а клячи пролеток -

мустанги.

Взаправду

игрушечный
рос магазин,
ревел
пароходный гудок.

Сейчас же
сбегу
в страну мокасин -
лишь сбондю
рубль и бульдог.

А сегодня -
это не умора.

Сколько миль воды
винтом нарыто,-

и встает

живьем

страна Фениамора

Купера

и Майн Рида.

Рев сирен,

кончается вода.

Мы прикручены

к земле

о локоть локоть.

И берет

набитый “Лефом”

чемодан

Монтигомо

Ястребиный Коготь.

Глаз торопится слезой налиться.

Как? чему я рад? -

- Ястребиный Коготь!

Я ж

твой “Бледнолицый

Брат”.

Где товарищи?

чего таишься?

Помнишь,

из-за клумбы

стрелами

отравленными

в Кутаисе

били

мы

по кораблям Колумба?-

Цедит

злобно

Коготь Ястребиный,

медленно,

как треснувшая крынка:

- Нету краснокожих - истребили

гачупины с гринго.

Ну, а тех из нас,

которых

пульки

пощадили,

просвистевши мимо,

кабаками

кактусовой “пульке”

добивает

по 12-ти сантимов.

Заменяла

чемоданов куча

стрелы,

от которых

никуда не деться...-

Огрызнулся

и пошел,

сомбреро нахлобуча

вместо радуги

из перьев

птицы Кетцаль.

Года и столетья!

Как ни косите

склоненные головы дней,-

корявые камни

Мехико-сити

прошедшее вышепчут мне.

Это

было

так давно,

как будто не было.

Бабушки столетних попугаев

не запомнят.

Здесь

из зыби озера

вставал Пуабло,

дом-коммуна

в десять тысяч комнат.

И золото

между озерных зыбей

лежало,

аж рыть не надо вам.

Чего еще,

живи,

бронзовой,

вторая сестра Элладова!

Но очень надо

за морем

белым,

чего индейцу не надо.

Жадна

у белого

Изабелла,

жена

короля Фердинанда.

Тяжек испанских пушек груз.

Сквозь пальмы,

сквозь кактусы лез

по этой дороге

из Вера-Круц

генерал

Эрнандо Кортес.

Пришел.

Вода студеная

хочет

вскипеть кипятком

от огня.

Дерутся

72 ночи

и 72 дня.

Хранят

краснокожих

двумордые идолы.

От пушек

не видно вреда.

Как мышь на сало,
прельстясь на титулы,

своих

Моктецума предал.

Напрасно,

разбитых

в отряды спаяв,

Гватемок

в озерной воде

мок.

Что

против пушек

стреленка твоя!..

Под пытками

умер Гватемок.

И вот стоим,

индеец да я,

товарищ

далекого детства.

Он умер,

чтоб в бронзе

веками стоять

наискосок от полпредства.

Внизу

громыхает

столетий орда,

и горько стоять индейцу.

Что братьям его,

рабам,

чехарда

всех этих Хуэрт

и Диэцов?..

Прошла

годов трезначная сумма.

Героика

нынче не тема.

Пивною маркой стал Моктецума,

пивной маркой - Гватемок.

Буржуи

все

под одно стригут.

Вконец обесцветили мир мы.

Теперь

в утешенье земле-старик

лишь две

конкурентки фирмы.

Ни лиц пожелтелых,

ни солнца одеж.

В какую

огромную лупу,

в какой трущобе

теперь

найдешь

сарапе и Гваделупу?

Что Рига, что Мехико -

родственный жанр.

Латвия

тропического леса.

Вся разница:

зонтик в руке у рижан,

а у мексиканцев

”Смит и Вессон”.

Две Латвии

с двух земных боков -
различные собой они
лишь тем,
что в Мексике
режут быков
в театре,
а в Риге -
на бойне.
И совсем как в Риге,
около пяти,
проклиная
мамову опеку,
фордом
разжигая жениховский аппетит,
кружат дочки
по Чапультапеку.
А то,
что тут урожай фуража,
что в пальмы земля разодета,
так это от солнца,-
сиди

и рожай

бананы и президентов.

Наверху министры

в бриллиантовом огне.

Под -

народ.

Голейший зад виднеется.

Без штанов,

во-первых, потому, что нет,

во-вторых,-

не полагается:

индейцы.

Обнищало

моктецумье племя,

и стоит оно

там,

где город

выбег

на окраины прощаться

перед вывеской

муниципальной:

”Без штанов

в Мехико-сити

вход воспрещается”.

Пятьсот

по Мексике

нищих племен,

а сытый

с одним языком:

одной рукой выжимает в лимон,

одним запирает замком.

Нельзя

борьбе

в племена рассекаться.

Нищий с нищими

рядом!

Несись

по земле

из страны мексиканцев,

роднящий крик:

”Камарада!”

Голод

мастер людей равнять.

Каждый индеец,

кто гол.

В грядущем огне

родня-головня

ацтек,

метис

и креол.

Мильон не угробят богатых лопаты.

Страна!

Поди,

покори ее!

Встают

взамен одного Запаты

Гальваны,

Морено,

Карио.

Сметай

с горбов

толстопузых обузу,

ацтек,

креол

и метис!

Скорей

над мексиканским арбузом,

багровое знамя, взметись!

Мехико-сити, 20 июля, 1925

БОГОМОЛЬНОЕ

Большевики

надругались над верой православной.

В храмах-клубах -

словесные бои.

Колокола без языков -

немые словно.

По божьим престолом

похабничают воробьи.

Без веры

и нравственность ищем напрасно.

Чтоб нравственным быть -

кадилами вей.

Вот Мексика, например,

потому и нравственна,

что прут

богомолки

к вратам церквей.

Кафедраль -

богомольнейший из монашских институтцев.

Брат “Notre Dame’a”

на площади,-

а около,

Запружена народом,

”Площадь Конституции”,

в простонародии -

площадь “Сокола”

Блестящий

двенадцатицилиндровый

”пакард”

остановил шофер,

простоватый хлопец.

- Стой,- говорит,-

помолюсь пока... -

донна Эсперанца Хуан-де-Лопец.

Нету донны

ни час, ни полтора.

Видно, замолилась.

Веровать так веровать

И снится шоферу -

донна у алтаря.

Париж

голубочком

душа шоферова.

А в кафедрале

безлюдно и тихо:

не занято

в соборе

ни единого стульца.

С другой стороны

у собора -

выход

сразу

на четыре гудящие улицы.

Донна Эсперанца

выйдет как только,

к донне

дон распаленный кинется.

За угол!

Улица “Изабелла Католика”

а в этой улице -

гостиница на гостинице.

А дома -

растет до ужина

свирепость мужаина.

У дона Лопеца

терпеньё лопаётся.

То крик,

то стон

испускает дон.

Гремит

по квартире

тигровый соло:

- На восемь частей разрежу ее!-

И, выдрав из уса

в два метра волос,
он пробует
сабли своей острие.

- Скажу ей:

”Иначе, сеньора, лягте-ка!

Вот этот

кольт

ваш сожитель до гроба!”-

И в пумовой ярости

- все-таки практика!-

сбивает

с бутылок

дюжину пробок.

Гудок в два тона -

приехала донна.

Еще

и рев

не успел уйти

за кактусы

ближнего поля,

а у шоферских

виска и груди

нависли

клинок и пистоля.

- Ответ или смерть!

Не вертеть вола!

Чтоб донна

не могла

запираться,

ответь немедленно,

где была

жена моя

Эсперанца?

- О дон Хуан!

В вас дьяволы злобятся.

Не гневайте

божью милость.

Донна Эсперанца

Хуан-де-Лопец

сегодня

усердно

молилась.

1925

МЕКСИКА - НЬЮЙОРК

Бежала

Мексика

от буферов

горящим,

сияющим бредом.

И вот

под мостом

река или ров,

делящая

два Ларедо.

Там доблести -

скачут,

коня загоня,

в пятак

попадают

из кольца,

и скачет конь,

и брюхо коня
о колкий кактус исколото.

А здесь
железо -
не расшатать!

Ни воли,
ни жизни,
ни нерва вам!

И сразу
рябит
тюрьма решета

вам
для знакомства
для первого.

По рельсам
поезд сыпет,
под рельсой
шпалы сыпятся.

И гладью
Миссисипи
под нами миссисипится.

По бокам

поезда

не устанут снова:

или хвост мелькнет,

или нос.

На боках поездных

страновеют слова:

“Сан-Луис”,

”Мичиган”,

”Иллинойс”!

Дальше, поезд,

огнями расцвеченный!

Лез,

обгоняет,

храпит.

В НьюЙорк несется

”Твенти сенчери

экспресс”.

Курьерский!

Рapid!

Кругом дома,

в этажи затеряв
путей
и проволок множь.
Теряй шапчонку,
глаза задеря,
все равно -
ничего не поймешь!

1926

БРОДВЕЙ

Асфальт - стекло.

Иду и звеню.

Леса и травинки -

сбриты.

На север

с юга

идут авеню,

на запад с востока -

стриты.

А между -

(куда их строитель завез!)-

дома

невозможной длины.

Одни дома

длиною до звезд,

другие -

длиной до луны.

Янки

подошвами шлепать

ленив:

простой

и курьерский лифт.

В 7 часов

человечий прилив,

в 17 часов -

отлив.

Скрежещет механика,

звон и гам,

а люди

немые в звоне.

И лишь замедляют

жевать чуингам,

чтоб бросить:

”Мек моней?”

Мамаша

грудь

ребенку дала.

Ребенок

с каплями из носу,

сосет

как будто

не грудь, а доллар -

занят

серьезным

бизнесом.

Работа окончена.

Тело обвей

в сплошной

электрический ветер.

Хочешь под землю -

бери собвей,

на небо -

бери элевейтер.

Вагоны

едут

и дымам под рост,

и в пятках

домовьих

трутся,

и вынесут

хвост

на Бруклинский мост,

и спрячут

в норы

под Гудзон.

Тебя ослепило,

ты осовел.

Но,

как барабанная дробь,

из тьмы

по темени:

”Кофе Максвел

гуд

ту ди ласт дроп”.

А лампы

как станут

ночь копать.

ну, я доложу вам -

пламечко!

Налево посмотришь -

мамочка мать!

Направо -

мать моя мамочка!

Есть что поглядеть московской братве.

И за день

в конец не дойдут.

Это НьюЙорк.

Это Бродвей.

Гау ду ю ду!

Я в восторге

от Нью-Йорка города.

Но

кепчонку

не сдерну с виска.

У советских

собственная гордость:

на буржуев

смотрим свысока.

6 августа НьюЙорк.1925 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ

Вид индейцев таков:

пернат,

смешон

и нездешен.

Они

приезжают

из первых веков

сквозь лязг

”Пенсильвэния Стейшен”.

Им

Кулиджи

пару пальцев суют.

Снимают

их

голливудцы.

На крыши ведут

в ресторанный уют.

Под ними,

гульбу разгудевши свою,

ньюйоркские улицы льются.

Кто их радует?

чем их злят?

О чем их дума?

куда их взгляд?

Индейцы думают:

”Ишь -

капитал!

Ну и дома застроил.

Все отберем

ни за пятак

при

социалистическом строе.

Сначала

будут

бои клокотать.

А там

ни вражды,

ни начальства!

Тишь

да гладь

да божья благодать -

сплошное луначарство.

Иными

рейсами

вспенятся воды;

пойдут

пароходы зажаривать,

сюда

из Москвы

возить переводы

произведений Жарова.

И радио -

только мгла легла -

правду-матку вызвонит.

Придет

и расскажет

на весь вигвам,

в чем

красота

жизни.

И к правде

пойдет

индейская рать,

вздываясь

знаменной уймою...”

Впрочем,

зачем

про индейцев врать?

Индейцы

про это

не думают.

Индеец думает:

”Там,

где черно

воде

у моста в оскале,

плескался

недавно

юркий челнок

деда,

искателя скальпов.

А там,

где взвиг

этажей коробок

и жгут

миллион киловатт,-

стоял

индейский

военный бог,

брюхат

и головат.

И все,

что теперь

вокруг течет,

все,

что отсюда видимо,-
все это
вытворил белый черт,
заморская
белая ведьма.

Их

всех бы
в лес прогнать
в одни,
и мы чтоб
с копьём гонялись...”

Поди

под такую мысль
подведи
классовый анализ.

Мысль человечья

много сложнее,
чем знают
у нас
о ней.

Тряхнув

оперенья нарядную рядь
над пастью
облошаделой,
сошли
и - пока!
пошли вымирать.

А что им
больше
делать?

Подумай
о новом агит-винте.

Винти,
чтоб задор не гас его.

Ждут.

Переводи, Коминтерн,
расовый гнев
на классовый.

1926

НЕБОСКРЕБ В РАЗРЕЗЕ

Возьми

разбольшущий

дом в Нью-Йорке,

взгляни

насквозь

на зданье на то.

Увидишь -

старейшие

норки да каморки -

совсем

дооктябрьский

Елец аль Конотоп.

Первый -

ювелиры,

караул бессменный,

замок

зацепился ставням о бровь.

В сером

герои кино,

полисмены,

лягут

собаками

за чужое добро.

Третий -

спят бюро-конторы.

Ест

промокашки

рабий пот.

Чтоб мир

не забыл,

хозяин который,

на вывесках

золотом

”Вильям Шпрот”.

Пятый.

Подсчитав

приданные сорочки,

мисс

перезрелая

в мечте о женихах.

Вздымая грудью

ажурные строчки,

почесывает

пышных подмышек меха.

Седьмой.

Над очагом

домашним

высясь,

силы сберегши

спортом смолоду,

сэр

своей законной миссис,

узнав об измене,

кровавит морду.

Десятый.

Медовый.

Пара легла.

Счастливей,

чем Ева с Адамом были.

Читают

в “Таймсе”

отдел реклам:

“Продажа в рассрочку автомобилей”.

Тридцатый.

Акционеры

сидят увлечены,

делят миллиарды,

жадны и озабочены.

Прибыль

треста

”изготовленье ветчины

из лучшей

дохлой

чикагской собачины”.

Сороковой.

У спальни

опереточной дивы.

В скважину

замочную,

сосредоточив прыть,

чтоб Кулидж дал развод,

детективы

мужа

должны

в кровати накрыть.

Свободный художник,

рисующий задочки,

дремлет в девяностом,

думает одно:

как бы ухажнуть

за хозяйской дочкой -

да так,

чтоб хозяину

всучить полотно.

А с крыши стаял

скатертный снег.

Лишь ест

в ресторанной выси

большие крохи

уборщик - негр,

а маленькие крошки -

крысы.

Я смотрю,

и злость меня берет

на укывшихся

за каменный фасад.

Я стремился

за 7000 верст вперед,

а приехал

на 7 лет назад.

1925

ПОРЯДОЧНЫЙ ГРАЖДАНИН

Если глаз твой

врага не видит,

пыл твой выпили

нэп и торг,

если ты

отвык ненавидеть, -

приезжай

сюда,

в НьюЙорк.

Чтобы, в мили улиц опутан,

в боли игл

фонарных ежей,

ты прошел бы

со мной

лилипутом

у подножия

их этажей.

Видишь -

вон

выгребают мусор -

на обедках

с детьми пронянчиться,

чтоб в авто,

обгоняя “бусы”,

ко дворцам

неслись бриллиантщицы.

Загляни

в окошки в эти -

здесь

наряд им вышили княжий.

Только

сталью глушит элевейтер

хрип

и кашель

чахотки портняжей.

А хозяин -

липкий студень -

с мордой,

вспухшей на радость чирю,

у работницы

щупает груди:

“Кто понравится -

удочерю!

Двести дам

(если сотни мало),

грусть

сгоню

навсегда с очей!

Будет

жизнь твоя -

Куни-Айланд,

луна-парк

в миллиард свечей”.

Уведет -

а назавтра

зверья,

волчья банда

бесполох старух

проститутку -

в смолу и в перья,

и опять

в смолу и в пух.

А хозяин

в отеле Плаза,

через рюмку

и с богом сблизясь,

закатил

в поднебесье глазки:

“Сенк’ю

за хороший бизнес!”

Успокойтесь,

вне опасения

ваша трезвость,

нравственность,

дети,

барабаны

”армий спасения”

вашу

в мир

трубят добродетель.

Бог

на вас

не разукоризнится:

с вас

и маме их -

на платок,

и ему

соберет для ризницы

божий менеджер,

поп Платон.

Клоб полиций

на вас не свалится.

Чтобы ты

добрел, как кулич,

СМОТРИТ СКВОЗЬ ХОЛЕННЫЕ ПАЛЬЦЫ

на тебя

демократ Кулидж.

И, елозя

по небьим сводам

стражем ханжества,

центов

и сала,

пялит

руку

ваша свобода

над тюрьмою

Элис-Айланд.

1925

ВЫЗОВ

Горы злобы

аж ноги гнут.

Даже

шея вспухает зобом.

Лезет в рот,

в глаза и внутрь.

Оседая,

влезает злоба.

Весь в огне.

Стою на Риверсайде.

Сбоку

фордами

штурмуют мрака форт.

Небоскребы

локти скручивают сзади,

впереди

американский флот.

Я смеюсь

над их атакою тройною.

Ники Картеры

мою

недоглядели визу.

Я

полпред стиха -

и я
с моей страной
вашим штатишкам
брошаю вызов.

Если

кроха протухла,
плеснится,
выбрось
весь
прогнивший кус.

Сплюнул я,

не доев и месяца
вашу доблесть,
законы,
вкус.

Посылаю к чертям свинячим

все доллары
всех держав.

Мне бы

кончить жизнь
в штанах,

в которых начал,
ничего
за век свой
не стяжав.
Нам смешны
дозволенного зоны.
Взвод мужей,
остолбеней,
цинизмом поражен!

Мы целуем
- беззаконно! -
над Гудзоном
ваших
длинноногих жен.

День наш
шумен.
И вечер пышен.

Шлите
сыщиков
в щелки слушать.

Пьем,

плюя

на ваш прогибишен,

ежедневную

”Белую лошадь”.

Вот и я

стихом побрататься

прикатил и вбиваю мысли,

не боящиеся депортаций:

ни сослать их нельзя

и не выселить.

Мысль

сменяют слова,

а слова -

дела,

и глядишь,

с небоскребов города,

раскачав,

в мостовые

вбивают тела -

Вандерлипов,

Рокфеллеров,

Фордов.

Но пока

доллар

всех поэм родовей.

Обирая,

лапя,

хапая,

выступает,

порфирой надев Бродвей,

капитал -

его препохабие.

1925

АМЕРИКАНСКИЕ РУССКИЕ

Петров

Капланом

за пуговицу пойман.

Штаны

заплатаны,

как балканская карта.

“Я вам,

сэр,

назначаю апойнтман.

Вы знаете,

кажется,

мой апартаман?

Тудой пройдете четыре блока,

потом

сюдой дадите крен.

А если

стриткара набита,

около

можете взять

подземный трен.

Возьмите

с меняньем пересядки тикет

и прите спокойно,

будто в телеге.

Слезете на корнере

у дрогс ликет,

а мне уж

и пинту

принес бутлегер.

Приходите ровно

в севен оклок, -

поговорим

про новости в городе

и проведем

по-московски вечерок, -

одни свои:

жена да бордер.

А с джабом завозитесь в течение дня

или

раздумаете вовсе -

тогда

обязательно

отзвоните меня.

Я буду

в офисе”.

“Гуд бай!” -

разнеслось окрест

и кануло

ветру в свист.

Мистер Петров

пошел на Вест

а мистер Каплан -

на Ист.

Здесь, извольте видеть, “джаб”,

а дома

”цуп” да “цус”.

С насыпи

язык

летит на полном пуске.

Скоро

только очень образованный

француз

будет

кое-что

соображать по-русски.

Горланит

по этой Америке самой

стоязыкий

народ-оголтец.

Уж если

Одесса - Одесса-мама,

то НьюЙорк -

Одесса-отец.

1925

БАРЫШНЯ И ВУЛЬВОРТ

Бродвей сдурел.

Бегня и гулево.

Дома

с небес обрываются

и висят.

Но даже меж ними

заметишь Вульворт.

Корсетная коробка

этажей под шестьдесят.

Сверху

разведывают

звезд взводы,

в средних

тайпистки

стрекогут бешено.

А в самом нижнем -

”Дрогс сода,

грет энд феймус компани-нейшенал”.

А в окошке мисс

семнадцати лет

сидит для рекламы

и точит ножи.

Ржавые лезвия

фирмы “Жиллет”

кладет в патентованный

железный зажим

и гладит

и водит

кожей ремня.

Хотя

усов

и не полагается ей,

НО ВОДИТ

по губке,

УСЫ ВОЗОМНЯ,-

дескать -

готово,

наточил и брей.

Наточит один

до сияния лучика

и новый ржавый

берет для возни.

Наточит,

вынет

и сделает ручкой.

Дескать -

зайди,

купи,

возьми.

Буржуем не сделаешься с бритвенной точки.

Бегут без бород

и без выражений на лице.

Богатств буржуйских особые источники:

работай на доллар,

а выдадут цент.

У меня ни усов,

ни долларов,

ни шевелюр,-

и в горле

застревают

английского огрызки.

Но я подхожу

и губми шевелю -

как будто

через стекло

разговариваю по-английски.

“Сидишь,

глазами буржуев охлопана.

Чем обнадежена?

Дура из дур”.

А девушке слышится:

”Опен,

опен ди дор”.

“Что тебе заботиться

о чужих усах?

Вот...

посадили...

как дуру еловую”.

А у девушки

фантазия раздувает паруса,

и слышится девушке:

”Ай лов ю”.

Я злею:

”Выдь,

окно разломай,-

а бритвы раздай

для жирных горл”.

Девушке мнится:

”Май,

май горл”.

Выходит

фантазия из рамок и мерок -

и я

кажусь

красивый и толстый,

И чудится девушке -
влюбленный клерк
на ней
жениться
приходит с Волстрит.

И верит мисс,
от счастья дрожа,
что я -
долларовый воротила,
что ей
уже
в других этажах
готовы бесплатно
и стол
и квартира.

Как врезать ей
в голову
мысли-ножи,
что русским известно другое средство,
как влезть рабочим
во все этажи

без грез,
без свадеб,
без жданий наследства.

1925

БРУКЛИНСКИЙ МОСТ

Издай, Кулидж,
радостный клич!
На хорошее
и мне не жалко слов.
От похвал
красней,
как флага нашего материйка,
ХОТЬ ВЫ
и разьюнайтед стетс
оф
Америка.
Как в церковь
идет

помешавшийся верующий,

как в скит

удаляется,

строг и прост, -

так я

в вечерней

сереющей мерещи

вхожу,

смиренный, на Бруклинский мост.

Как в город

в сломанный

прет победитель

на пушках - жерлом

жирафу под рост -

так, пьяный славой,

так жить в аппетите,

влезая,

гордый,

на Бруклинский мост.

Как глупый художник

в мадонну музея

вонзает глаз свой,
влюблен и остр,
так я,
с поднебесья,
в звезды усеян,
смотрю
на НьюЙорк
сквозь Бруклинский мост.

НьюЙорк

до вечера тяжек
и душен,
забыл,
что тяжело ему
и высоко,
и только одни
домовьи души
встают
в прозрачном свечении окон.

Здесь

еле зудит
элевейтеров зуд.

И только

по этому -

тихому зуду

поймешь -

поезда

с дребезжаньем ползут,

как будто

в буфет убирают посуду.

Когда ж,

казалось, с-под речки начатой

развозит

с фабрики

сахар лавочник, -

то

под мостом проходящие мачты

размером

не больше размеров булавочных.

Я горд

вот этой

стальной милей,

живьем в ней

мои видения встали -

борьба

за конструкции

вместо стилей,

расчет суровый

гаек

и стали.

Если

придет

окончание света -

планету

хаос

разделает в лоск,

и только

один останется

этот

над пылью гибели вздыбленный мост,

то,

как из косточек,

тоньше иголок,

тучнеют

в музеях стоящие

ящеры,

так

с этим мостом

столетий геолог

сумел

воссоздать бы

дни настоящие.

Он скажет:

- Вот эта

стальная лапа

соединяла

моря и прерии,

отсюда

Европа

рвалась на Запад,

пустив

по ветру

индейские перья.

Напомнит

машину

ребро вот это -

сообразите,

хватит рук ли,

чтоб, став

стальной ногой

на Мангетен,

к себе

за губу

притягивать Бруклин?

По проводам

электрической пряжи -

я знаю -

эпоха

после пара -

здесь

люди

уже

орали по радио,

здесь

люди

уже

взлетали по аэро.

Здесь

жизнь

была

одним - беззаботная,

другим -

голодный

протяжный вой.

Отсюда

безработные

в Гудзон

кидались

вниз головой.

И дальше

картина моя

без заглавочки

по струнам - канатам,

аж звездам к ногам.

Я вижу -

здесь

стоял Маяковский,

стоял

и стихи слагал по слогам. -

Смотрю,

как в поезд глядит эскимос,

впиваюсь,

как в ухо впивается клещ.

Бруклинский мост -

да...

Это вещь!

1925

100%

Шеры...

облигации...

доллары...

центы...

В винницкой глуши тьмутараканясь,

так я рисовал,

вот так мне представлялся
стопроцентный
американец.

Родила сына одна из жен.

Отвернув

пеленочный край,
акушер демонстрирует:

Джон как Джон.

Ол райт!

Девять фунтов,

глаза -

пяточки.

Ощерив зубовой ряд,

отец

протер

роговые очки:

Ол райт!

Очень прост

воспитанья вопрос.

Ползает,

лапы марает.

Лоб расквасил -

ол райт!

нос -

ол райт!

Отец говорит:

”Бездельник Джон.

Ни цента не заработал,

а гуляет!”

Мальчишка

Джон

выходит вон.

Ол райт!

Техас,

Калифорния,

Массачузэт.

Ходит

из края в край.

Есть хлеб -

ол райт!

нет -

ол райт!

Подрос,

поплевывает слюну.

Трубчонка

горит, не сгорает.

“Джон,

на пари,

пойдешь на луну?”

Ол райт!

Одну полюбил,

назвал дорогой.

В азарте

играет в рай.

Она изменила,

ушел к другой.

Ол райт!

Наследство Джону.

Расходов -

рой.

Миллион

растаял от трат.

Подсчитал,

улыбнулся -

найдем второй.

Ол райт!

Работа.

Хозяин -

лапчатый гусь -

обкрадывает

и обирает.

Джон

намотал

на бритый ус.

Ол райт!

Хозяин выгнал.

Ну, что ж!

Джон

рассчитаться рад.

Хозяин за кольт,

а Джон за нож.

Ол райт!

Джон

хозяйской пулей сражен.

Шепчутся:

”Умирает”.

Джон услышал,

усмехнулся Джон.

Ол райт!

Гроб.

Квадрат прокопали черный.

Земля -

как по крыше град.

Врыли.

Могильщик

вздохнул облегченно.

Ол райт!

Этих Джонов

нету в Нью-Йорке.

Мистер Джон,

жена его

и кот

зажирели,

спят

в своей квартирной норке,
просыпаясь
изредка
от собственных икот.
Я разбезалаберный до крайности,
но судьбе
не любящий
учтиво кланяться,
я,
поэт,
и то американистей
самого что ни на есть
американца.

1925

КЕМП “НИТ ГЕДАЙГЕ”

Запретить совсем бы
ночи - негодяйке
выпускать
из пасти

столько звездных жал.

Я лежу, -

палатка

в Кемпе “Нит гедайге”.

Не по мне все это.

Не к чему...

и жаль...

Взвоят

и замрут сирены над Гудзоном,

будто бы решают:

выть или не выть?

Лучше бы не выли.

Пассажирам сонным

надо просыпаться,

думать,

есть,

любить...

Прямо

перед мордой

пролетает вечность -

бесконечночасый распустила хвост.

Были б все одеты,
и в белье, конечно,

если б время

ткало

не часы,

а холст.

Впречь бы это

время

в приводной бы ремень, -

спустят

с холостого -

и чеши и сыпь!

Чтобы

не часы показывали время,

а чтоб время

честно

двигало часы.

Ну, американец...

тоже...

чем гордится.

Втер очки Нью-Йорком.

Видели его.

Сотня этажишек

в небо городится.

Этажи и крыши -

только и всего.

Нами

через пропасть

прямо к коммунизму

перекинут мост,

длиною -

во сто лет.

Что ж,

с мостища с этого

глядим с презрение

Кверху нос задрали?

загордились?

Нет.

Мы

ничьей башки

мостами не морочим.

Что такое мост?

Приспособление для простуд.

Тоже...

без домов

не проживете очень

на одном

таком

возвышенном мосту.

В мире социальном

те же неурядицы:

три доллара за день,

на -

и отвяжись.

А у Форда сколько?

Что играть в прятки!

Ну, скажите, Кулидж, -

разве это жизнь?

Много ль

человеку

(даже Форду)

надо?

Форд -

в миллионах фордов,

сам же Форд -

в аршин.

Мистер Форд,

для вашего,

для высохшего зада

разве мало

двух

просторнейших машин?

Лишек -

в М. К. Х.

Повесим ваш портретик.

Монумент

и то бы

вылепили с вас.

Кланялись бы детки,

вас

случайно встретив.

Мистер Форд -

отдайте!

Даст он...

Черта с два!

За палаткой

мир

лежит угрюм и темен.

Вдруг

ракетой сон

звенит в унынье в это:

“Мы смело в бой пойдём

за власть Советов...”

Ну, и сон приснит вам

полночь-негодяйка!

Только сон ли это?

Слишком громок сон.

Это

комсомольцы

Кемпа “Нит гедайге”

песней

заставляют

плыть в Москву Гудзон.

20 сентября 1925 г. НьюЙорк.

ДОМОЙ!

Уходите, мысли, восвояси.

Обнимись,

души и моря глубь.

Тот,

кто постоянно ясен,-

тот,

по-моему,

просто глуп.

Я в худшей каюте

из всех кают -

всю ночь надо мною

ногами куют.

Всю ночь,

покой потолка возмущив,

несется танец,

стонет мотив:

”Маркита,

Маркита,

Маркита моя,

зачем ты,

Маркита,

не любишь меня...”

А зачем

любить меня Марките?!

У меня

и франков даже нет.

А Маркиту

(толечко моргните!)

за сто франков

препроводят в кабинет.

Небольшие деньги -

поживи для шику -

нет,

интеллигент,

взбивая грязь вихров,

будешь всучивать ей

швейную машинку,

по стежкам

строчащую

шелка стихов.

Пролетарии

приходят к коммунизму

низом -

низом шахт,

серпов

и вил, -

я ж

с небес поэзии

бросаюсь в коммунизм,

потому что

нет мне

без него любви.

Все равно -

сослался сам я

или послан к маме -

слов ржавеет сталь,

чернеет баса медь.

Почему

под иностранными дождями

вымокать мне,

гнить мне

и ржаветь?

Вот лежу,

уехавший за воды,

ленью

еле двигаю

моей машины части.

Я себя

советским чувствую

заводом,

вырабатывающим счастье.

Не хочу,

чтоб меня, как цветочек с полян,

рвали

после служебных тягот.

Я хочу,

чтоб в дебатах

потел Госплан,

мне давая

задания на год.

Я хочу,
чтоб над мыслью
времен комиссар
с приказанием нависал.

Я хочу,
чтоб сверхставками спеца
получало
любовищу сердце.

Я хочу,
чтоб в конце работы
завком
запирал мои губы
замком.

Я хочу,
чтоб к штыку
приравняли перо.
С чугуном чтоб
и с выделкой стали
о работе стихов,
от Политбюро,
чтобы делал

доклады Сталин.

”Так, мол,

и так...

И до самых верхов

прошли

из рабочих нор мы:

в Союзе

Республик

пониманье стихов

выше

довоенной нормы...”

1925

Стихотворения 1926 года

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Вы ушли,

как говорится,

в мир иной.

Пустота...

Летите,

в звезды врезываясь.

Ни тебе аванса,

ни пивной.

Трезвость.

Нет, Есенин,

это

не насмешка.

В горле

горе комом -

не смешок.

Вижу -

врезанной рукой помешкав,

собственных

костей

качаете мешок.

- Прекратите!

Бросьте!

Вы в своем уме ли?

Дать,

чтоб щеки

заливал

смертельный мел?!

Вы ж

такое

загибать умели,

что другой

на свете

не умел.

Почему?

Зачем?

Недоуменье смяло.

Критики бормочут:

- Этому вина

то...

да се...

а главное,

что смычки мало,

в результате

много пива и вина.-

Дескать,

заменить бы вам

богему

классом,

класс влиял на вас,

и было б не до драк.

Ну, а класс-то

жажду

заливает квасом?

Класс - он тоже

выпить не дурак.

Дескать,

к вам приставить бы

кого из напостов -

стали б

содержанием

премного одарённой.

Вы бы

в день

писали

строк по сто,

утомительно

и длинно,

как Доронин.

А по-моему,

осуществись

такая бредь,

на себя бы

раньше наложили руки.

Лучше уж

от водки умереть,

чем от скуки!

Не откроют

нам

причин потери

ни петля,

ни ножик перочинный.

Может,

окажись

чернила в “Англетере”,

вены

резать

не было б причины.

Подражатели обрадовались:

бис!

Над собою

чуть не взвод

расправу учинил.

Почему же

увеличивать

число самоубийств?

Лучше

увеличь

изготовление чернил!

Навсегда

теперь

язык

в зубах затворится.

Тяжело

и неуместно

разводить мистерии.

У народа,

у языкотворца,

умер

звонкий

забулдыга подмастерье.

И несут

стихов заупокойный лом,

с прошлых

с похорон

не переделавши почти.

В холм

тупые рифмы

загонять колом -

разве так

поэта

надо бы почтить?

Вам

и памятник еще не слит,-

где он,

бронзы звон,

или гранита грань?-

а к решеткам памяти

уже

понанесли
посвящений
и воспоминаний дрянь.
Ваше имя
в платочки рассоплено,
ваше слово
слюнявит Собинов
и выводит
под березкой дохлой -
“Ни слова,
о дру-уг мой,
ни вздо-о-о-о-ха “
Эх,
поговорить бы иначе
с этим самым
с Леонидом Лоэнгринычем!
Встать бы здесь
гремящим скандалистом:
- Не позволю
мямлить стих
и мять!-

Оглушить бы

их

трехпалым свистом

в бабушку

и в бога душу мать!

Чтобы разнеслась

бездарнейшая погань,

раздувая

темь

пиджачных парусов,

чтобы

врассыпную

разбежался Коган,

встреченных

увеча

пиками усов.

Дрянь

пока что

мало поредела.

Дела много -

только поспевать.

Надо

жизнь

сначала переделать,

переделав -

можно воспевать.

Это время -

трудновато для пера,

но скажите

вы,

калеки и калекши,

где,

когда,

какой великий выбирал

путь,

чтобы протоптанней

и легче?

Слово -

полководец

человечьей силы.

Марш!

Чтоб время

сзади

ядрами рвалось.

К старым дням

чтоб ветром

относило

только

путаницу волос.

Для веселия

планета наша

мало оборудована.

Надо

вырвать

радость

у грядущих дней.

В этой жизни

помереть

не трудно.

Сделать жизнь

значительно трудней.

1926

МАРКСИЗМ - ОРУЖИЕ,
ОГНЕСТРЕЛЬНЫЙ МЕТОД.
ПРИМЕНЯЙ УМЕЮЧИ
МЕТОД ЭТОТ!

Штыками

двух столетий стык

закрепляет

рабочая рать.

А некоторые

употребляют штык,

чтоб им

в зубах ковырять.

Все хорошо:

поэт поет,

критик

занимается критикой.

У стихотворца -

корытце свое,

у критика -

свое корытико.

Но есть

не имеющие ничего,

окромя

красивого почерка.

А лезут

в книгу,

хваля

и грома

из пушки

критического очерка.

А чтоб

имелось

научное лицо

у этого

вздора злопыханного -

всегда

на столе

покрытый пылью

неразрезанный том

Плеханова.

Зазубрит фразу

(ишь, ребята!)

и ходит за ней,

как за няней.

Бытье -

а у этого - еда и питье

определяет сознание.

Перелистывая

авторов

на букву “эл”,

фамилию

Лермонтова

встретя,

критик выясняет,

что он ел

на первое

и что - на третье.

- Шампанское пил?

Выпивал, допустим.

Налет буржуазный густ.

А его

любовь

к маринованной капусте

доказывает

помещичий вкус.

В Лермонтове, например,

чтоб далеко не идти,

смысла

не больше,

чем огурцов в акации.

Целые

хоры

небесных светил,

и ни слова

об электрификации.

Но,

очищая ядро

от фразерских корок,

бобы -

от шелухи лиризма,

признаю,

что Лермонтов

близок и дорог

как первый

обличитель либерализма.

Массам ясно,

как ни хитри,

что, милюковски юля,

светила

у Лермонтова

ходят без ветрил,

а некоторые -

и без руля.

Но так ли

разрабатывать

важнейшую из тем?

Индивидуализмом пичкать?

Демоны в ад,

а духи -

в эдем?

А где, я вас спрашиваю, смычка?

Довольно

этих

божественных легенд!

Любою строчкой вырванной

Лермонтов

доказывает,

что он -

интеллигент,

к тому же

деклассированный!

То ли дело

наш Степа

- забыл,

к сожалению,

фамилию и отчество,-

у него

в стихах

Коминтерна топот...

Вот это -

настоящее творчество!

Степа -

кирпич

какого-то здания,

не ему

разговаривать вкось и вкривь.

Степа

творит,

не затемняя сознания,

без волокиты аллитераций

и рифм.

У Степы

незнание

точек и запятых

заменяет

инстинктивный

массовый разум,

потому что

батрачка -

мамаша их,

а папаша -

рабочий и крестьянин сразу.-

В результате

вещь
ясней помидора
обволакивается
туманом сизым,
и эти
горы
нехитрого вздора
некоторые
называют марксизмом.
Не говорят
о веревке
в журнале повешенного,
не изменить
шаблона прилежного.
Лежнев зарадуется -
”он про Вешнева”.
Вешнев
- “он про Лежнева”.

19 апреля 1926 г.

ЧЕТЫРЕХЭТАЖНАЯ ХАЛТУРА

В центре мира

стоит Гиз -

оправдывает штаты служебный раж.

Чтоб книгу

народ

зубами грыз,

наворачивается

миллионный тираж.

Лицо

тысячеглазого треста

блестит

электричеством ровным.

Вшивают

в Маркса

Аверченковы листы,

выписывают гонорары Цицеронам.

Готово.

А зав

упрется назавтра

в заглавие,

как в забор дышлом.

Воедино

сброшировано

12 авторов!

- Как же это, родимые, вышло??-

Темь

подвалов

тиражом беля,

залегает знание -

и лишь

бегает

по книжным штабелям

жирная провинциалка -

мышь.

А читатели

сидят

в своей уездной яме,

иностранным упиваются,

мозги щадя.

В Африки

вослед за Бенуями

улетают

на своих жилплощадях.

Званье

- “пролетарские” -

нося как эполеты,

без ошибок

с Пушкина

списав про весны,

выступают

пролетарские поэты,

развернув

рулоны строф поверстных.

Чем вы - пролетарий,

уважаемый поэт?

Вы

с богемой слились

9 лет назад.

Ну, скажите,

уважаемый пролет,-

вы давно

динаму

видели в глаза?

- Извините

нас,

сермяжных,

за стишонок неудачненький.

Не хотите

под гармошку поплясать ли?-

Это,

в лапти нарядившись,

выступают дачники

под заглавием

- крестьянские писатели.

О, сколько нуди такой городимо,

от которой

мухи падают замертво!

Чего только стоит

один Радимов

с греко-рязанским своим гекзаметром!

Разлунивши

лысины лачки,
убежденно
взявши
ручку в ручки,
бороденок
теребя пучки,
честно
пишут про Октябрь
попутчики.

Раньше

маленьким казался и Лесков -
рядышком с Толстым
почти не виден.

Ну, скажите мне,

в какой же телескоп
в те недели

был бы виден Лидин?!

- На Руси

одно веселье -

пити...-

А к питью

подай краюху
и кусочек сыру.

И орут писатели

до хрипоты

о быте,

увлекаясь

бытом

госиздатовских кассиров.

Варят чепуху

под клубы

трубочного дыма -

всякую уху

сожрет

читатель-Фока.

А неписанная жизнь

проходит

мимо

улицею фыркающих окон.

А вокруг

скачут критики

в мыле и пене:

- Здорово пишут писатели, братцы!

- Гений-Казин,

Санников-гений...

Все замечательно!

Рады стараться!-

С молотка

литература пущена.

Где вы,

сеятели правды

или звезд сиятели?

Лишь в четыре этажа халтурщина:

Гиза,

критика,

читаки

и писателя.

Нынче

стала

зелень веток в редкость,

гол

литературы ствол.

Чтобы стать

поэту крепкой веткой -
выкрепите мастерство!

1926

РАЗГОВОР С ФИНИНСПЕКТОРОМ О ПОЭЗИИ

Гражданин фининспектор!

Простите за беспокойство.

Спасибо...

не тревожьтесь...

я постою...

У меня к вам

дело

деликатного свойства:

о месте

поэта

в рабочем строю.

В ряду

имеющих

лабазы и угодя

и я обложен

и должен караться.

Вы требуете

с меня

пятьсот в полугодие

и двадцать пять

за неподачу деклараций.

Труд мой

любому

труду

родствен.

Взгляните -

сколько я потерял,

какие

издержки

в моем производстве

и сколько тратится

на материал.

Вам,

конечно, известно явление “рифмы”.

Скажем,

строчка

окончилась словом

”отца”,

и тогда

через строчку,

слога повторив, мы

ставим

какое-нибудь:

ламцадрица-ца.

Говоря по-вашему,

рифма -

вексель.

Учесь через строчку! -

вот распоряжение.

И ищешь

мелочишку суффиксов и флексий

в пустующей кассе

склонений

и спряжений.

Начнешь это

слово

в строчку всовывать,

а оно не лезет -

нажал и сломал.

Гражданин фининспектор,

честное слово,

поэту

в копеечку влетают слова.

Говоря по-нашему,

рифма -

бочка.

Бочка с динамитом.

Строчка -

фитиль.

Строка додымит,

взрывается строчка,-

и город

на воздух

строфой летит.

Где найдешь,

на какой тариф,

рифмы,

чтоб враз убивали, нацелясь?

Может,

пяток

небывалых рифм

только и остался

что в Венецуэле.

И тянет

меня

в холода и в зной.

Бросаюсь,

опутан в авансы и в займы я.

Гражданин,

учтите билет проездной!

- Поэзия

- вся! -

езда в неизвестное.

Поэзия -

та же добыча радия.

В грамм добыча,

в год труды.

Изводишь

единого слова ради
тысячи тонн
словесной руды.

Но как

испепеляюще
слов этих жжение
рядом
с тлением
слова - сырца.

Эти слова

приводят в движение
тысячи лет
миллионов сердца.

Конечно,

различны поэтов сорта.
У скольких поэтов
легкость руки!

Тянет,

как фокусник,
строчку изо рта
и у себя

и у других.

Что говорить

о лирических кастратах?!

Строчку

чужую

вставит - и рад.

Это

обычное

воровство и растрата

среди охвативших страну растрат.

Эти

сегодня

стихи и оды,

в аплодисментах

ревомые ревя,

войдут

в историю

как накладные расходы

на сделанное

нами -

двумя или тремя.

Пуд,

как говорится,

соли столовой

съешь

и сотней папирос клуби,

чтобы

добыть

драгоценное слово

из артезианских

людских глубин.

И сразу

ниже

налога рост.

Скиньте

с обложенья

нуля колесо!

Рубль девяносто

сотня папирос,

рубль шестьдесят

столовая соль.

В вашей анкете

вопросов масса:

- Были выезды?

Или выездов нет?-

А что,

если я

десяток пегасов

загнал

за последние

15 лет?!

У вас -

в мое положение войдите -

про слуг

и имущество

с этого угла.

А что,

если я

народа водитель

и одновременно -

народный слуга?

Класс

гласит

из слова из нашего,

а мы,

пролетарии,

двигатели пера.

Машину

души

с годами изнашиваешь.

Говорят:

- в архив,

исписался,

пора!-

Все меньше любитя,

все меньше дерзается,

и лоб мой

время

с разбега крушит.

Приходит

страшнейшая из амортизаций -

амортизация

сердца и души.

И когда

это солнце
разжиревшим боровом
взойдет
над грядущим
без нищих и калек,-
я
уже
сгнию,
умерший под забором,
рядом
с десятком
моих коллег.

Подведите

мой

посмертный баланс!

Я утверждаю

и - знаю - не налгу:

на фоне

сегодняшних

дельцов и пролаз

я буду

- один! -

в непролазном долгу.

Долг наш -

реветь

медногорлой сиреной

в тумане мещанья,

у бурь в кипенье.

Поэт

всегда

должник вселенной,

платящий

на горе

проценты

и пени.

Я

в долгу

перед Бродвейской лампионией,

перед вами,

багдадские небеса,

перед Красной Армией,

перед вишнями Японии -

перед всем,

про что

не успел написать.

А зачем

вообще

эта шапка Сене?

Чтобы - целясь рифмой -

и ритмом ярись?

Слово поэта -

ваше воскресение,

ваше бессмертие,

гражданин канцелярист.

Через столетья

в бумажной раме

возьми строку

и время верни!

И встанет

день этот

с фининспекторами,

с блеском чудес

и с вонью чернил.

Сегодняшних дней убежденный житель,

выправьте

в энкапез

на бессмертье билет

и, высчитав

действие стихов,

разложите

заработок мой

на триста лет!

Но сила поэта

не только в этом,

что, вас

вспоминая,

в грядущем икнут.

Нет!

И сегодня

рифма поэта -

ласка

и лозунг,

и штык,

и кнут.

Гражданин фининспектор,

я выплачу пять,

все

нули

у цифры скрестя!

Я

по праву

требую пядь

в ряду

беднейших

рабочих и крестьян.

А если

вам кажется,

что всего делов -

это пользоваться

чужими словесами,

то вот вам,

товарищи,

мое стило,

и можете

писать

сами!

1926

ПЕРЕДОВАЯ ПЕРЕДОВОГО

Довольно

сонной,

расслабленной праздности!

Довольно

козырянья

в тысячи рук!

Республика искусства

в смертельной опасности -

в опасности краска,

слово,

звук.

Громы

зажаты

у слова в кулаке,-

а слово

зовется

только с тем,
чтоб кланялось
событью
слово - лакей,
чтоб слово плелось
у статей в хвосте.
Брось дрожать
за шкуры скряжи!
Вперед забегайте,
не боясь суда!
Зовите рукой
с грядущих кряжей:
“Пролетарий,
сюда!”
Полезли
одиночки
из миллионной давки -
такого, мол,
другого
не увидишь в жисть.
Каждый

рад

подставить бородавки

под увековечливую

ахровскую кисть.

Вновь

своя рубаха

ближе к телу?

А в нашей работе

то и ново,

что в громаде,

класс которую сделал,

не важно

сделанное

Петровым и Ивановым.

Разнообразны

души наши.

Для боя - гром,

для кровати -

шепот.

А у нас

для любви и для боя -

марши.

Извольте

под марш

к любимой шлепать!

Почему

теперь

про чужое поем,

изъясняемся

ариями

Альфреда и Травиаты?

И любви

придумаем

слово свое,

из сердца сделанное,

а не из ваты.

В годы голода,

стужи-злюки

разве

филармонии играли окрест?

Нет,

свои,

баррикадные звуки

нашел

гудков

медногорлый оркестр.

Старью

революцией

поставлена точка.

Живите под охраной

музейных оград.

Но мы

не предадим

кустарям-одиночкам

ни лозунг,

ни сирену,

ни киноаппарат.

Наша

в коммуну

не иссякнет вера.

Во имя коммуны

жмись и мнись.

Каждое

сегодняшнее дело
меряй,
как шаг
в электрический,
в машинный коммунизм.
Довольно домашней,
кустарной праздности!
Довольно
изделий ловких рук!
Федерация муз
в смертельной опасности -
в опасности слово,
краска
и звук.

1926

ВЗЯТОЧНИКИ

Дверь. На двери -
”Нельзя без доклада”

Под Марксом,

в кресло вкресленный,

с высоким окладом,

высок и гладок,

сидит

облеченный ответственный.

На нем

контрабандный подарок - жилет,

в кармане -

ручка на страже,

в другом

уголочком торчит билет

с длиннющим

подчищенным стажем.

Весь день -

сплошная работа уму.

На лбу -

непролазная дума:

кому

ему

устроить куму,

кому приспособить кума?

Он всюду

пристроил

мелкую сошку,

езде

у него

по лазутчику.

Он знает,

кому подставить ножку

и где

иметь заручку.

Каждый на месте:

невеста -

в тресте,

кум -

в Гум,

брат -

в наркомат.

Все шире периферия родных,

и

в ведомостичках узких

не вместишь

всех сортов наградных -

спецставки,

танъемы,

нагрузки!

Он специалист,

но особого рода:

он

в слове

мистику стер.

Он понял буквально

”братство народов” .

как счастье братьев,

теть

и сестер.

Он думает:

как сократить ему штаты?

У Кэт

не глаза, а угли...

А может быть,

место

оставить для Наты?

У Наты формы округлей.

А там

в приемной -

сдержанный гул,

и воздух от дыма спирается.

Ответственный жмет плечьми:

- Не могу!

Нормально...

Дела разбираются!

Зайдите еще

через день-другой...-

Но дней не дожидаться жданных.

Напрасно

проситель

согнулся дугой.

- Нельзя...

Не имеется данных!-

Пока поймет!

Обшаркав паркет,

порывшись в своих чемоданах,

проситель

кладет на суконце пакет

с листами

новейших данных.

Простился.

Ладонью пакет заслоня

- взрумянились щеки - пончики,-

со сладострастием,

пальцы слюня,

мерзавец

считает червончики.

А давший

по учрежденью орет,

от правильной гневности красен:

- Подать резолюцию! -

И в разворот

- во весь! -

на бумаге:

”Согласен”!

Ответственный

мчит

в какой-то подъезд.

Машину оставил

по праву.

Ответственный

ужин с любовницей ест

ответственный

хлещет “Абрау”.

Любовницу щиплет,

весел и хитр.

- Вот это

подарочки Сонечке:

Вот это, Сонечка,

вам на духи.

Вот это

вам на кальсончики...-

Такому

в краже рабочих тыщ

для ширмы октябрьское зарево.

Он к нам пришел,

чтоб советскую нищ

на кабаки разбазаривать.

Я

белому

руку, пожалуй, дам,

пожму, не побрезгав ею.

Я лишь усмехнусь:

- А здорово вам

наши

намылили шею!-

Укравшему хлеб

не потребуешь кар.

Возможно

простить и убийце.

Быть может, больной,

сумасшедший угар

в душе

у него

клубится.

Но если

скравший

этот вот рубль

ладонью

ладонь мою тронет,

я, руку помыв,

кирпичом ототру

поганую кожу с ладони.

Мы белым

едва обломали рога;

хромает

пока что

одна нога,-

для нас,

полусытых и латочных,

страшней

и гаже

любого врага

взяточник.

Железный лозунг

партией дан.

Он нам

недешево дался!

Долой присосавшихся

к нашим
рядам
и тех,
кто к грошам
присосался!
Нам строиться надо
в гигантский рост,
но эти
обсели кассы.
Каленым железом
выжжет нарост
партия
и рабочие массы.

1926

В ПОВЕСТКУ ДНЯ

Ставка на вас,
комсомольцы-товарищи,-
на вас,

грядущее творящих!

Петь

заставьте

быт тарабарящий!

Расчистьте

квартирный ящик!

За десять лет -

устанешь бороться,-

расшатаны

- многие!-

тряской.

Заплыло

тиной

быта болотце,

покрылось

будничной ряской.

Мы так же

сердца наши

ревностью жжем -

и суд наш

по-старому скорый:

мы

часто

наганом

и финским ножом

решаем -

любовные споры.

Нет, взвидя,

что есть

любовная ржа,

что каши вдвоем

не сваришь,-

ты зубы стиснь

и, руку пожав,

скажи:

- Прощевай, товарищ!-

У скольких

мечта:

”Квартирку б внаем!

Свои сундуки

да клети!

И угол мой

и хозяйство мое -

и мой

на стене

портретик”.

Не наше счастье -

счастье вдвоем!

С классом

спаяйся четко!

Коммуна:

все, что мое,-

твое,

кроме -

зубных щеток.

И мы

по-прежнему,

если радостно,

по-прежнему,

если горе нам -

мы

топим горе в сорокаградусной

и празднуем

радость
трехгорным.

Питье

на песни б выменять нам.

Такую

сделай, хоть тресни!

Чтоб пенистой пива,

чтоб крепче вина

хватали

за душу

песни.

Гуляя,

работая,

к любимой льня,-

думай о коммуне,

быть или не быть ей?!

В порядок

этого

майского дня

поставьте

вопрос о быте.

1926

ПРОТЕКЦИЯ

Обывателиада в 3-х частях

1

Обыватель Михин -

друг дворничихин.

Дворник Службин

с Фелицией в дружбе.

У тети Фелиции

лицо в милиции.

Квартхоз милиции

Федор Овечко

имеет

в совете

нужного человечка.

Чин лица

не упомнишь никак:

главшвейцар

или помистопника.

А этому чину

домами знакома

мамаша

машинистки секретаря райкома.

У дочки ее

большущие связи:

друг во ВЦИКе

(шофер в автобазе!),

а Петров, говорят,

развозит мужчину,

о котором

все говорят шепоточком,-

маленького роста,

огромного чина.

Словом -

он...

Не решаюсь...

Точка.

2

Тихий Михин

пойдет к дворничихе.

“Прошу покорненько,
попросите дворника”.

Дворник стукнется
к тетке заступнице.

Тетка Фелиция

шушукнет в милиции.

Квартхоз Овечко

замолвит словечко.

А главшвейцар -

Да Винчи с лица,

весь в бороде,

как картина в раме,-

прямо

пойдет

к машинисткиной маме.

Просьбу

дочь

предает огласке:

глазки да ласки,

ласки да глазки...

Кого не ловили на такую аферу?

Куда ж удержаться простаку-шоферу!

Петров подождет,

покамест,

как солнце,

персонье лицо расперсонится:

- Простите, товарищ,

извинений тысячка...-

И просит

и молит, ласковой лани.

И чин снисходит:

- Вот вам записочка.-

А в записке -

исполнение всех желаний.

А попробуй -

полазй

без родственных связей!

Покроют дворники

словом черненьким.

Обложит белолицая

тетя Фелиция.

Подвернется нога,

перервутся нервы

у взвидевших наган

и усы милиционероввы.

В швейцарской судачат:

- И не лезь к совету

все на даче,

никого нету.-

И мама сама

и дитя-машинистка,

невинность блюдя,

не допустят близко.

А разных главных

неуловимо

шоферы

возят и возят мимо.

Не ухватишь -

скользкие,-

не люди, а налимь.

“Без доклада воспрещается”.

Куда ни глянь,

“И пойдут они, солнцем палимы,

И застонут...”.

Дело дрянь!

Кто бы ни были

сему виновниками

- сошка маленькая

или крупный кит,-

разорвем

сплетенную чиновниками

паутину кумовства,

протекций,

волокит.

1926

ЛЮБОВЬ

Мир

опять

цветами оброс,

у мира

весенний вид.

И вновь

встает

нерешенный вопрос -

о женщинах

и о любви.

Мы любим парад,

нарядную песню.

Говорим красиво,

выходя на митинг.

Но часто

под этим,

покрытый плесенью,
старенький-старенький бытик.

Поет на собрание:

”Вперед, товарищи...”

А дома,

забыв об арии сольной,

орет на жену,

что щи не в наваре

и что

огурцы

плоховато просолены.

Живет с другой -

киоск в ширину,

бельем -

шантанная дива.

Но тонким чулком

попрекает жену:

- Компрометируешь

пред коллективом.-

То лезут к любой,

была бы с ногами.

Пять баб

переменит

в течение суток.

У нас, мол,

свобода,

а не моногамия.

Долой мещанство

и предрассудок!

С цветка на цветок

молодым стрекозлом

порхает,

летает

и мечется.

Одному

в мире

кажется злом -

это

алиментщица.

Он рад умереть,

экономя треть,

три года

судиться рад:

и я, мол, не я,

и она не моя,

и я вообще

кастрат.

А любят,

так будь

монашенкой верной -

тиранит

ревностью

всякий пустяк

и мерит

любовь

на калибр револьверный,

неверной

в затылок

пулю пуся.

Четвертый -

герой десятка сражений,

а так,

что любо-дорого,

бежит

в перепуге

от туфли жениной,

простой туфли Мосторга.

А другой

стрелу любви

иначе метит,

путает

- ребенок этакий -

уловенье

любимой

в романические сети

с повышеньем

подчиненной по тарифной

сетке...

По женской линии

тоже вам не райские скинии.

Простенького паренька

подцепила

барынька.

Он работать,

а ее

не удержать никак -

бегают за клёшем

каждого бульварника.

Что ж,

сиди

и в плаче

Нилом нилься.

Ишь!-

Жених!

- Для кого ж я, милые, женился?

Для себя -

или для них?-

У родителей

и дети этакого сорта:

- Что родители?

И мы

не хуже, мол!-

Занимаются

любовью в виде спорта,

не успеv

вписаться в комсомол.

И дальше,

к деревне,

быт без движеньица -

живут, как и раньше,

из года в год.

Вот так же

замуж выходят

и женятся,

как покупают

рабочий скот.

Если будет

длиться так

за годом годик,

то,

скажу вам прямо,

не сумеет

разобрать

и брачный кодекс,

где отец и дочь,

который сын и мама.

Я не за семью.

В огне

и в дыме синем

выгори

и этого старья кусок,

где шипели

матери-гусыни

и детей

стерег

- отец-гусак!

Нет.

Но мы живем коммуной

плотно,

в общежитиях

грязнеет кожа тел.

Надо

голос

подымать за чистоплотность

отношений наших

и любовных дел.

Не отвливай -

мол, я не венчан.

Нас

не поп скрепляет тарабарящий.

Надо

обвязать

и жизнь мужчин и женщин

словом,

нас объединяющим:

”Товарищи”.

1926

ПОСЛАНИЕ ПРОЛЕТАРСКИМ ПОЭТАМ

Товарищи,

позвольте

без позы,

без маски -

как старший товарищ,

неглупый и чуткий,

поразговариваю с вами,

товарищ Безыменский,

товарищ Светлов,

товарищ Уткин.

Мы спорим,

аж глотки просят лужения,

мы

задыхаемся

от эстрадных побед,

а у меня к вам, товарищи,

деловое предложение:

давайте

устроим

веселый обед!

Расстелим внизу

комплименты ковровые,

если зуб на кого -

отпилим зуб;

розданные

Луначарским

венки лавровые -

сложим

в общий
товарищеский суп.

Решим,
что все
по-своему правы.

Каждый поет
по своему
голоску!

Разрежем
общую курицу славы
и каждому
выдадим
по равному куску.

Бросим
друг другу
шпильки подсовывать,
разведем
изысканный
словесный ажур.

А когда мне
товарищи

предоставят слово -

я это слово возьму

и скажу:

- Я кажусь вам

академиком

с большим задом,

один, мол, я

жрец

поэзий непролазных.

А мне

в действительности

единственное надо -

чтоб больше поэтов

хороших

и разных.

Многие

пользуются

напостовской тряскою,

с тем

чтоб себя

обозвать получше.

- Мы, мол, единственные,
мы пролетарские...-

А я, по-вашему, что -
валютчик?

Я

по существу

мастеровой, братцы,
не люблю я
этой
философии нудовой.

Засучу рукавички:

работать?
драться?

Сделай одолжение,

а ну, давай!

Есть

перед нами
огромная работа -
каждому человеку
нужное стихачество.

Давайте работать

до седьмого пота
над поднятием количества,
над улучшением качества,
Я меряю
по коммуне
стихов сорта,
в коммуну
душа
потому влюблена,
что коммуна,
по-моему,
огромная высота,
что коммуна,
по-моему,
глубочайшая глубина.

А в поэзии
нет
ни друзей,
ни родных,
по протекции
не свяжешь

рифм лычки.

Оставим

распределение

орденов и наградных,

бросим, товарищи,

наклеивать ярлычки.

Не хочу

похвастать

мыслью новенькой,

но по-моему -

утверждаю без авторской спеси -

коммуна -

это место,

где исчезнут чиновники

и где будет

много

стихов и песен.

Стоит

изумиться

рифмочек парой нам -

мы

почитаем поэта гением.

Одного

называют

красным Байроном,

другого -

самым красным Гейнем.

Одного боюсь -

за вас и сам,-

чтоб не обмелели

наши души,

чтоб мы

не возвели

в коммунистический сан

плоскость раешников

и ерунду частушек.

Мы духом одно,

понимаете сами:

по линии сердца

нет раздела.

Если

вы не за нас,

а мы

не с вами,

то черта ль

нам

остаётся делать?

А если я

вас

когда-нибудь крою

и на вас

замахивается

перо-рука,

то я, как говорится,

добыл это кровью,

я

больше вашего

рифмы строгал.

Товарищи,

бросим

замашки торгашьи

- моя, мол, поэзия -

мой лабаз!-

всё, что я сделал,

все это ваше -

рифмы,

темы,

дикция,

бас!

Что может быть

капризной славы

и пепельней?

В гроб, что ли,

брать,

когда умру?

Наплевать мне, товарищи,

в высшей степени

на деньги,

на славу

и на прочую муру!

Чем нам

делить

поэтическую власть,

сгрудим

нежность слов
и слова-бичи,
и давайте
без завистей
и без фамилий
класть
в коммунову стройку
слова-кирпичи.

Давайте,
товарищи,
шагать в ногу.

Нам не надо
брюзжащего
лысого парика!

А ругаться захочется -
врагов много
по другую сторону
красных баррикад.

ФАБРИКА БЮРОКРАТОВ

Его прислали

для проведения режима.

Средних способностей.

Средних лет.

В мыслях - планы.

В сердце - решимость.

В кармане - перо

и партбилет.

Ходит,

распоряжается энергичным жестом.

Видно -

занимается новая эра!

Сам совался в каждое место,

всех переглядел -

от зава до курьера.

Внимательный

к самым мельчайшим крохам,

вздувает

сердечный пыл...

Но бьются

слова,

как об стену горохом,

об -

канцелярские лбы.

А что канцелярии?

Внимает, мошенница!

Горите

хоть солнца ярче,-

она

уложит

весь пыл в отношеньица,

в анкетку

и в циркулярчик.

Бумажку

встречать

с отвращением нужно.

А лишь

увлечешься ею, -

то через день

голова заталмужена

в бумажную ахинею.

Перепишут все

и, канителью исходящей нитью,

на доклады

с папками идут:

- Подпишитесь тут!

Да тут вот подмахнитесь!..

И вот тут, пожалуйста!..

И тут!..

И тут!..-

Пыл

в чернила уплыл

без следа.

Пред

в бумагу

всосался, как клещ...

Среда -

это

паршивая вещь!!

Глядел,

лицом

белее мела,
сквозь канцелярский мрак.
Катился пот,
перо скрипело,
рука свелась
и вновь корпела,-
но без конца
громадой белой
росла
гора бумаг.
Что угодно
подписью подляпает,
и не разберясь:
куда,
зачем,
кого?
Собственную
тетушку
назначит римской папою.
Сам себе
подпишет

смертный приговор.

Совести

партийной

слабенькие пiski

заглушает

с днями

исходящий груз.

Раскусил чиновник

пафос переписки,

облизнулся,

въелся

и - вошел во вкус.

Где решимость?

планы?

и молодчество?

Собирает канцелярию,

загривок мыля ей.

- Разузнать

немедля

имя - отчество!

Как

такому

посылать конверт

с одной фамилией??!-

И опять

несется

мелким лайцем:

- Это так-то службу мы несем?!

Написали просто

”прилагается”

и забыли написать

”при сем”!-

В течение дня

страну наводня

потопом

ненужной бумажности,

в машину

живот

уложит -

и вот

на дачу

стремится в важности.

Пользы от него,
что молока от черта,
что от пшенной каши -
золотой руды.

Лишь растут
подвалами
отчеты,
вознося
чернильные пуды.

Рой чиновников
с недели на день
аннулирует
октябрьский гром и лом,
и у многих
даже
проступают сзади
пуговицы
дофевральские
с орлом.

Поэт
всегда

и добр и галантен,
делиться выводом рад.

Во-первых:

из каждого
при известном таланте
может получиться
бюрократ.

Вывод второй

(из фельетонной водицы
вытекал не раз
и не сто):

коммунист не птица,
и незачем обзаводиться
ему
бумажным хвостом.

Третий:

поднять бы его за загривок
от бумажек,
разостланных низом,

чтоб бумажки,

подписанные
прямо и криво,
не заслоняли
ему
коммунизм.

1926

ТОВАРИЩУ НЕТТЕ

пароходу и человеку

Я недаром вздрогнул.
Не загробный вздор.
В порт,
горящий,
как расплавленное лето,
разворачивался
и входил
товарищ “Теодор
Нетте”.
Это - он.

Я узнаю его.

В блюдечках - очках спасательных кругов.

- Здравствуй, Нетте!

Как я рад, что ты живой
дымной жизнью труб,

канатов

и крюков.

Подойди сюда!

Тебе не мелко?

От Батума,

чай, котлами покипел...

Помнишь, Нетте,-

в бытность человеком

ты пивал чай

со мною в дипкупе?

Медлил ты.

Захрапывали сони.

Глаз

кося

в печати сургуча,

напролет

болтал о Ромке Якобсоне
и смешно потел,
стихи уча.
Засыпал к утру.
Курок
аж палец свел...
Суньтесе -
кому охота!
Думал ли,
что через год всего
встречусь я
с тобою -
с пароходом.
За кормой луница.
Ну и здорово!
Залегла,
просторы надвое порвав.
Будто навек
за собой
из битвы коридоровой
тянешь след героя,

светел и кровав.

В коммунизм из книжки

верят средне.

“Мало ли,

что можно

в книжке намолоть!”

А такое -

оживит внезапно “бредни”

и покажет

коммунизма

естество и плоть.

Мы живем,

зажатые

железной клятвой.

За нее -

на крест,

и пулю чешите:

это -

чтобы в мире

без России,

без Латвии,

жить единым

человечьим общежитьем.

В наших жилах -

кровь, а не водица.

Мы идем

сквозь револьверный лай,

чтобы,

умирая,

воплотиться

в пароходы,

в строчки

и в другие долгие дела.

Мне бы жить и жить,

сквозь годы мчась.

Но в конце хочу -

других желаний нету -

встретить я хочу

мой смертный час

так,

как встретил смерть

товарищ Нетте.

15 июля 1926 г., Ялта

УЖАСАЮЩАЯ ФАМИЛЬЯРНОСТЬ

Куда бы

ты

ни направил разбег,

и как ни ерзай,

и где ногой ни ступи,-

есть Марксов проспект,

и улица Розы,

и Луначарского -

переулок или тупик.

Где я?

В Ялте или в Туле?

Я в Москве

или в Казани?

Разберешься?

- Черта в стуле!

Не езда, а - наказание.

Каждый дюйм

бытия земного

профамилиен

и разыменован.

В голове

от имен

такая каша!

Как общий котел пехотного полка.

Даже пса дворняжку

вместо

”Полкаша”

зовут:

”Собака имени Полкан”.

“Крем Коллонтай.

Молодит и холит”.

“Гребенки Мейерхольд”.

“Мочала

а-ля Качалов”.

“Гигиенические подтяжки

имени Семашки”.

После этого

гуди во все моторы,
наизобретай идей мешок,
все равно -

про Мейерхольда будут спрашивать:

- “Который?”

Это тот, который гребешок?”

Я

к великим

не суюсь в почетнейшие лики.

Я солдат

в шеренге миллиардной.

Но и я

взываю к вам

от всех великих:

- Милые,

не обращайтесь с ними фамильярно!

1926

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИВЫЧКИ

Я

два месяца

шатался по природе,

чтоб смотреть цветы

и звезд огнишки.

Таковых не видел.

Вся природа вроде

телефонной книжки.

Везде -

у скал,

на массивном грузе

Кавказа

и Крыма скалоликого,

на стенах уборных,

на небе,

на пузе

лошади Петра Великого,

от пыли дорожной

до гор,

где грозы

гремят,

грома потрясав,-

езде

отрывки стихов и прозы,

фамилии

и адреса.

“Здесь были Соня и Ваня Хайлов.

Семейство ело и отдыхало”.

“Коля и Зина

соединили души”.

Стрела

и сердце

в виде груши.

“Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Комсомолец Петр Парулайтис”.

“Мусью Гога,

парикмахер из Таганрога”.

На кипарисе,

стоящем века,

весь алфавит:

а б в г д е ж з к.

А у этого

от лазанья

талант иссяк.

Превыше орлиных зон

просто и мило:

”Исак

Лебензон”.

Особенно

людей

винить не будем.

Таким нельзя

без фамилий и дат!

Всю жизнь канцелярствовали,

привыкли люди.

Они

и на скалу

глядят, как на мандат.

Такому,

глядящему

за чаем

с балконца
как солнце
садится в чаще,
ни восход,
ни закат,
а даже солнце -
входящее
и исходящее.

Эх!

Поставь меня
часок
на место Рыкова,
я б
к весне
декрет железный выковал:
“По фамилиям
на стволах и скалах
узнать
подписавшихся малых.

Каждому

в лапки

дать по тряпке.

За спину ведра -

и марш бодро!

Подписавшимся

и Колям

и Зинам

собственные имена

стирать бензином.

А чтоб энергия

не пропадала даром,

кстати и Ай-Петри

почистить скипидаром.

А кто

до того

к подписям привык,

что снова

к скале полез,-

у этого

навсегда

закрывается лик -

без”.

Под декретом подпись
и росчерк броский -
Владимир Маяковский.

1926 Ялта, Симферополь, Гурзуф, Алушка

ХУЛИГАН

Республика наша в опасности.

В дверь
лезет
немыслимый зверь.

Морда матовым рыком гулка,
лапы -
в кулаках.

Безмозглый,
и две ноги для ляганий,
вот - портрет хулиганий.

Матроска в полоску,
словно леса.

Из этих лесов

глядят телеса.

Чтоб замаскировать рыло мандрилье,

шерсть

аккуратно

сбрил на рыле.

Хлопья пудры

(“Лебязьего пуха”!),

бабочка-галстук

от уха до уха.

Души не имеется.

(Выдумка бар!)

В груди -

пивной

и водочный пар.

Обутые лодочкой

качает ноги водочкой.

Что ни шаг -

враг.

- Вдрызг фонарь,

враги - фонари.

Мне темно,

так никто не гори.

Враг - дверь,

враг - дом,

враг -

всяк,

живущий трудом.

Враг - читальня.

Враг - клуб.

Глупейте все,

если я глуп!-

Ремень в ручище,

и на нем

повисла гиря кистенем.

Взмахнет,

и гиря вертится,-

а ну -

попробуй встретиться!

По переулочкам - луна.

Идет одна.

Она юна.

- Хорошенькая!

(За косу.)

Обкрутимся без загсу!-

Никто не услышит,

напрасно орет

вонючей ладонью зажатый рот.

- Не нас контрапупят -

не наше дело!

Бежим, ребята,

чтоб нам не влетело!-

Луна

в испуге

за тучу пятится

от рваной груди

мяса и платьнца.

А в ближней пивной

веселье неистовое.

Парень

пиво глушит

и посвистывает.

Поймали парня.

Парня - в суд.

У защиты

словесный зуд:

- Конечно,

от парня

уйма вреда,

но кто виноват?-

Среда.

В нем

силу сдерживать

нет моготы.

Он - русский.

Он -

богатырь!

- Добрыня Никитич!

Будьте добры,

не трогайте этих Добрынь!-

Бантиком

губки

сложил подсудимый.

Прислушивается

к речи зудимой.

Сидит

смирней и краше,
чем сахарный барашек.

И припаяет судья

(сердобольно)

“4 месяца”.

Довольно!

Разве

зверю,

который взбесится,

дают

на поправку

4 месяца?

Деревню - на сход!

Собери

и при ней

словами прожги парней!

Гуди,

и чтоб каждый завод гудел

об этой

последней беде.

А кто

словам не умилился,

тому

агитатор -

шашка милиции.

Решимость

и дисциплина,

пружинь

тело рабочих дружин!

Чтоб, если

возьмешь за воротник,

хулиган раскис и сник.

Когда

у больного

рука гниет -

не надо жалеть ее.

Пора

топором закона

отсечь

гнилые

дела и речь!

1926

ХУЛИГАН

Ливень докладов.

Прееете?

Прей!

А под клубом,

гармошкой избранные,

в клубах табачных

шипит “Левенбрей”,

в белой пене

прибоем

трехгорное...

Еле в стул вмещается парень.

Один кулак -

четыре кило.

Парень взвинчен.

Парень распарен.

Волос взъерошенный.

Нос лилов.

Мало парню такому доклада.

Парню -

слово душевное нужно.

Парню

силу выхлестнуть надо.

Парню надо...

- новую дюжину!

Парень выходит.

Как в бурю на катере.

Тесен фарватер.

Тело намокло.

Парнем разосланы

к чертовой матери

бабы,

деревья,

фонарные стекла.

Смотрит -

кому бы заехать в ухо?

Что башка не придумает дурья?!

Бомба

из безобразий и ухарств,
дурости,
пива
и бескультурья.
Так, сквозь песни о будущем рае,
только солнце спрячется, канув,
тянутся
к центру огней
от окраин
драка,
муть
и ругня хулиганов.
Надо
в упор им -
рабочьи дружины,
надо,
чтоб их
судом обломало,
в спорт
перелить
мускуля пружины,-

надо и надо,

но этого мало...

Суд не скрутит -

набрать имен

и раструбить

в молве многогласой,

чтоб на лбу горело клеймо:

“Выродок рабочего класса”.

А главное - помнить,

что наше тело

дышит

не только тем, что скушано;

надо -

рабочей культуры дело

делать так,

чтоб не было скушно.

1926

РАЗГОВОР НА ОДЕССКОМ РЕЙДЕ

ДЕСАНТНЫХ СУДОВ: “СОВЕТСКИЙ ДАГЕСТАН”

И “КРАСНАЯ АБХАЗИЯ”

Перья-облака,

закат расканарейте!

Опускайся,

южной ночи гнет!

Пара

пароходов

говорит на рейде:

то один моргнет,

а то

другой моргнет.

Что сигналият?

Напрягаю я

морщины лба.

Красный раз...

угаснет,

и зеленый...

Может быть,

любовная мольба.

Может быть,

ревнует разозленный.

Может, просит:

”Красная Абхазия”!

Говорит

”Советский Дагестан”.

Я устал,

один по морю лазя,

подойди сюда

и рядом стань.-

Но в ответ

коварная

она:

- Как-нибудь

один

живи и грейся.

Я

теперь

по мачты влюблена

в серый “Коминтерн”,

трехтрубный крейсер.

- Все вы,
бабы,
трясогузки и каналы...

Что ей крейсер,
дылда и пачкун?-

Поскулил
и снова засигналил!

- Кто-нибудь,
пришлите табачку!..

Скучно здесь,
нехорошо
и мокро.

Здесь
от скуки
отсыреет и броня...-

Дремлет мир,
на Черноморский округ
синь-слезищу
морем оброня.

ПИСЬМО ПИСАТЕЛЯ

ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА МАЯКОВСКОГО

ПИСАТЕЛЮ

АЛЕКСЕЮ МАКСИМОВИЧУ ГОРЬКОМУ

Алексей Максимович,

как помню,

между нами

что-то вышло

вроде драки

или ссоры.

Я ушел,

блестя

потертыми штанами;

взяли Вас

международные рессоры.

Нынче -

иначе.

Сед височный блеск,

и взоры озаренней.

Я не лезу

ни с моралью,

ни в спасатели,

без иронии,

как писатель

говорю с писателем.

Очень жалко мне, товарищ Горький,

что не видно

Вас

на стройке наших дней.

Думаете -

с Капри,

с горки

Вам видней?

Вы

и Луначарский -

похвалы повальные,

добряки,

а пишуций

бесстыж -

тычет

целый день

свои

похвальные

листы.

Что годится,

чем гордиться?

Продают “Цемент”

со всех лотков.

Вы

такую книгу, что ли, цените?

Нет нигде цемента,

а Гладков

написал

благодарственный молебен о цементе.

Затыкаешь ноздри,

нос наморщишь

и идешь

верстой болотца длинненького.

Кстати,

говорят,

что Вы открыли мощи
этого...

Калинникова.

Мало знать

чистописаниев ремесла,
расписать закат
или цветенье редьки.

Вот

когда
к ребру душа примерзла,
ты
ее попробуй отогреть-ка!

Жизнь стиха -

тоже тиха.

Что горенья?

Даже
нет и тленья

в их стихе

холодном
и лядащем.

Все

входящие

срифмуют впечатления

и печатают

в журнале

в исходящем.

А рядом

молотобойцев

анапестам

учит

профессор Шенгели.

Тут

не поймете просто-напросто,

в гимназии вы,

в шинке ли?

Алексей Максимович,

у Вас

в Италии

Вы

когда-нибудь

подобное

видали?

Приспособленность

и ласковость дворовой,

деятельность

блюдо-рубле - и тому подобных “лиз”

называют многие

- “здоровый

реализм”.-

И мы реалисты,

но не на подножном

корму,

не с мордой, упершейся вниз,-

мы в новом,

грядущем быту,

помноженном

на электричество

и коммунизм.

Одни мы,

как ни хвалите халтуры,

но, годы на спины грузя,

тащим

историю литературы -

лишь мы

и наши друзья.

Мы не ласкаем

ни глаза,

ни слуха.

Мы -

это Леф,

без истерики -

мы

по чертежам

деловито

и сухо

строим

завтрашний мир.

Друзья -

поэты рабочего класса.

Их знание

невелико,

но врезал

инстинкт

в оркестр разногласий

буквы

грядущих веков.

Горько

думать им

о Горьком-эмигранте.

Оправдайтесь,

гряньте!

Я знаю -

Вас ценит

и власть

и партия,

Вам дали б все -

от любви

до квартир.

Прозаики

сели

перед Вами

на парте б:

- Учи!

Верти!-

Или жить вам,

как живет Шаляпин,
раздушенными аплодисментами оляпан?

Вернись

теперь

такой артист

назад

на русские рублики -

я первый крикну:

- Обратно катись,

народный артист Республики!-

Алексей Максимыч,

из-за Ваших стекол

виден

Вам

еще

парящий сокол?

Или

с Вами

начали дружить

по саду

ползущие ужи?

Говорили

(объяснения ходкие!),

будто

Вы

не едете из-за чахотки.

И Вы

в Европе,

где каждый из граждан

смердит покоем,

жратвой,

валютцей!

Не чище ль

наш воздух,

разреженный дважды

грозою

двух революций!

Бросить Республику

с думами,

с бунтами,

лысинку

южной зарей озарив,-

разве не лучше,

как Феликс Эдмундович,

сердце

отдать

временам на разрыв.

Здесь

дела по горло,

рукав по локти,

знамена неба

алы,

и соколы -

сталь в моторном клетоте -

глядят,

чтоб не лезли орлы.

Делами,

кровью,

строкою вот этою,

нигде

не бывшею в найме,-

я славлю

взвитое красной ракетю

Октябрьское,
руганное
и пропетое,
пробитое пулями знамя!

1926

ДОЛГ УКРАИНЕ

Знаете ли вы
украинскую ночь?
Нет,
вы не знаете украинской ночи!
Здесь
небо
от дыма
становится черно,
и герб
звездой пятиконечной вточен.
Где горилкой,
удалью

и кровью

Запорожская

бурлила Сечь,

проводов уздой

смирив Днепровьё,

Днепр

заставят

на турбины течь.

И Днипро

по проволокам-усам

электричеством

течет по корпусам.

Небось, рафинада

и Гоголю надо!

Мы знаем,

курит ли,

пьет ли Чаплин;

мы знаем

Италии безрукие руины;

мы знаем,

как Дугласа

галстух краплен...

А что мы знаем

о лице Украины?

Знаний груз

у русского

тощ -

тем, кто рядом,

почета мало.

Знают вот

украинский борщ,

знают вот

украинское сало.

И с культуры

поснимали пенку:

кроме

двух

прославленных Тарасов -

Бульбы

и известного Шевченка,-

ничего не выжмешь,

сколько ни старайся.

А если прижмут -

зардеется розой

и выдвинет

аргумент новый:

возьмет и расскажет

пару курьезов -

анекдотов

украинской мовы.

Говорю себе:

товарищ москаль,

на Украину

шуток не скаль.

Разучите

эту мову

на знаменах -

лексиконах алых,-

эта мова

величава и проста:

“Чуешь, сурмы заграли,

час расплаты настав...”

Разве может быть

затрепанней

да тише

слова

поистасканного

”Слышишь”?!

Я

немало слов придумал вам,

взвешивая их,

одно хочу лишь,-

чтобы стали

всех

моих

стихов слова

полновесными,

как слово “чуешь”.

Трудно

людей

в одно истолочь,

собой

кичись не очень.

Знаем ли мы украинскую ночь?

Нет,

мы не знаем украинской ночи.

1926

ОКТЯБРЬ

1917 - 1926

Если

стих

сердечный раж,

если

в сердце

задор смолк,

голосами его будоражь

комсомольцев

и комсомолок.

Дней шоферы

и кучера

гонят

пулей

время свое,

а как будто

лишь вчера

были

бури

этих боев.

В шинелях,

в поддевках идут...

Весть:

”Победа!”

За Смольный порог.

Там Ильич и речь,

а тут

пулеметный говорок.

Мир

другими людьми оброс;

пионеры

лет десяти

задают про Октябрь вопрос,

как про дело

глубоких седин.

Вырастает

времени мол,

день-волна,

не в силах противиться;

в смоль - усы

оброс комсомол,

из юнцов

перерос в партийцев.

И партийцы

в годах борьбы

против всех

буржуазных лис

натрудили

себе

горбы,

многий

стал

и выросл

и лыс.

А у стен,

с Кремля под уклон,

спят вожди

от трудов,

от ран.

Лишь колышет

камни

поклон

ото ста

подневольных стран.

На стене

пропылен

и нем

календарь как календарь,

но в сегодняшнем

красном дне

воскресает

годов легендарь.

Будет знамя,

а не хоругвь,
будут
пули свистеть над ним,
и “Вставай, проклятьем...”
в хору
будет бой
и марш,
а не гимн.
Век промчится
в седой бороде,
но и десять
пройдет хотя б,
мы
не можем
не молодеть,
выходя
на праздник - Октябрь.
Чтоб не стих
сердечный раж,
не дряхлел,
не стыл

и не смолк,
голосами
его
будоражь
комсомольцев
и комсомолок.

1926

НЕ ЮБИЛЕЙТЕ!

Мне б хотелось
про Октябрь сказать,
не в колокол названивая,
не словами,
украшающими
тепленький уют,-
дать бы
революции
такие же названия,
как любимым

в первый день дают!

Но разве

уместно

слово такое?

Но разве

настали

дни для покоя?

Кто галоши приобрел,

кто зонтик;

радуется обыватель:

”Небо голубо...”

Нет,

в такую ерунду

не рассказывайте

боевую

революцию - любовь.

В сотне улиц

сегодня

на вас,

на меня

упадут огнем знамена.

Будут глотки греметь,

за кордоны катя

огневые слова про Октябрь.

Белой гвардии

для меня

белей

имя мертвое: юбилей.

Юбилей - это пепел,

песок и дым;

юбилей -

это радость седым;

юбилей -

это край

кладбищенских ям;

это речи

и фимиам;

остановка предсмертная,

вздохи,

елей -

вот что лезет

из букв

”ю-б-и-л-е-й”.

А для нас

юбилей -

ремонт в пути,

постоял -

и дальше гуди.

Остановка для вас,

для вас

юбилей -

а для нас

подсчет рублей.

Сбереженный рубль -

сбереженный заряд,

поражающий вражеский ряд.

Остановка для вас,

для вас

юбилей -

а для нас -

это сплавы лей.

Разобьет

врага

электрический ход

лучше пушек

и лучше пехот.

Юбилей!

А для нас -

подсчет работ,

перемеренный литрами пот.

Знаем:

в графиках

довоенных норм

коммунизма одежда и корм.

Не горюй, товарищ,

что бой измельчал:

- Глаз на мелочь!-

приказ Ильича.

Надо

в каждой пылинке

будить уметь

большевистского пафоса медь.

Зорче глаз крестьянина и рабочего,

и минуту

не будь рассеянной!

Будет:

под ногами

заколеблется почва

почище японских землетрясений.

Молчит

перед боем,

топки глуша,

Англия бастующих шахт.

Пусть

китайский язык

мудрен и велик,-

знает каждый и так,

что Кантон

тот же бой ведет,

что в Октябрь вели

наш

рязанский

Иван да Антон.

И в сердце Союза

война.

И даже

киты батарей

и полки.

Воры

с дураками

засели в блиндажи

растрат

и волокит.

И каждая вывеска:

- рабкооп -

коммунизма тяжелый окоп.

Война в отчетах,

в газетных листах -

рассчитывай,

режь и крой.

Не наша ли кровь

продолжает хлестать

из красных чернил РКИ?!

И как ни тушили огонь -

нас трое!

Мы

трое

охапки в огонь кидаем:

растет революция

в огнях Волховстроя,

в молчании Лондона,

в пулях Китая.

Нам

девятый Октябрь -

не покой,

не причал.

Сквозь десятки таких девяти

мозг живой,

живая мысль Ильича,

нас

к последней победе веди!

1926

СТОЯЩИМ НА ПОСТУ

Жандармы вселенной,

вылоснив лица,

стоят над рабочим:

- Эй,

не бастуй!-

А здесь

трудящихся щит -

милиция

стоит

на своем

бессменном посту.

Пока

за нашим

октябрьским гулом

и в странах

в других

не грянет такой,-

стой,

береги своим караулом

копейку рабочую,

дом и покой.

Пока

Волховстроев яркая речь

не победит

темноту нищеты,

нутро республики

вам беречь -

рабочих

домов и людей

щиты.

Храня республику,

от людей до иголок,

без устали стой

и без лени,

пока не исчезнут

богатство и голод -

поставщики преступлений.

Враг - хитер!

Смотрите в оба!

Его не сломишь,

если сам лоботряс.

Помни, товарищ,-

нужна учеба

всем,

защищающим рабочий класс!

Голой рукой

не взять врага нам,

на каждом участке

преследуй их.

Знай, товарищ,

и стрельбу из нагана,

и книгу Ленина,

и наш стих.

Слаба дисциплина - петлю накинута.

Бандит и белый

живут в ладах.

Товарищ,

тверже крепи дисциплину

в милиционерских рядах!

Иной

хулигану

так

даже рад,-

выйдет

этакий

драчун и голосило:

- Ничего, мол,

выпимши -

свой брат -

богатырская

русская сила.-

А ты качнешься

(от пива частого),

у целой улицы нос заалел:

- Ежели,

мол,

безобразит начальство,

то нам,

разумеется,

и бог велел!-

Сорвут работу

глупым ляганьем

пивного чада

бузящие чады.

Лозунг твой:

- Хулиганам

нет повдады!-

Иной рассуждает,

морща лоб:

- Что цапать

маленьких воришек?

Ловить вора,

да такого,

чтоб

об нем

говорили в Париже!-

Если выудят

миллион

из кассы скряжьей,

новый

с рабочих

сдерет задарма.

На мелочь глаз!

На мелкие кражи,

потрошачие

тощий

рабочий карман!

В нашей республике

свет не равен:

чем дальше от центра -

тем глубже ночи.

Милиционер,

в темноту окраин

глаз вонзай

острей и зорче!

Пока

за нашим

октябрьским гулом

и в странах других

не пройдет такой -

стой,

береги своим караулом

копейки,

людей,

дома

и покой.

1926

О ТОМ,

КАК НЕКОТОРЫЕ

ВТИРАЮТ ОЧКИ

ТОВАРИЩАМ,

ИМЕЮЩИМ ЦИКОВСКИЕ

ЗНАЧКИ

1

Двое.

В петлицах краснеют флажки.

К дверям учрежденья направляют

шажки...

Душой - херувим,

ангел с лица,

дверь

перед ними

открыл швейцар.

Не сняв улыбки с прелестного ротика,

ботики снял

и пылинки с ботишков.

Дескать:

- Любой идет пускай:

ни имя не спросим,

ни пропуска!-

И рот не успели открыть,

а справа

принес секретарь

полдюжины справок,

И рта закрыть не успели,

а слева

несет резолюцию

какая-то дева...

Очередь?

Где?

Какая очередь?

Очередь -

воробьиного носа короче.

Ни чином своим не гордясь,

ни окладом -

принял

обоих

зав

без доклада...

Идут обратно -

весь аппарат,

как брат

любимому брату, рад...

И даже

котенок,

сидящий на папке,

с приветом

поднял

передние лапки.

Идут, улыбаясь,

хвалить не ленятся:

- Рай земной,

а не учрежденьице! -

Ушли.

У зава

восторг на физии:

- Ура!

Пронесло.

Не будет ревизии!..

2

Назавтра,

дома оставив флажки,

двое

опять направляют шажки.

Швейцар

сквозь щель

горделиво лается:

- Ишь, шпана.

А тоже - шляется!..-

С черного хода

дверь узка.

Орет какой-то:

- Предъявь пропуска!-

А очередь!

Мерь километром.

Куда!

Раз шесть

окружила дом,

как удав.

Секретарь,

величественней Сухаревой башни,

вдали

телефонит знакомой барышне...

Вчерашняя дева

в ответ на вопрос

сидит

и пудрит

веснушчатый нос...

У завовской двери

драконом-гадом

некто шипит:

- Нельзя без доклада! -

Двое сидят,

ковыряют в носу...

И только

уже в четвертом часу

закрыли дверь

и орут из-за дверок:

- Приходите

после дождика в четверг! -

У кошки -

и то тигрячий вид:

когти

вцарапать в глаза норовит...

В раздумье

оба

обратно катятся:

- За день всего -

и так обюрократиться?! -

А в щель

гардероб

вдогонку брошен:

на двух человек

полторы галоши.

Нету места сомнениям шатким.

Чтоб не пасса

бюрократ

коровой на лужку,

надо

или бюрократам

дать по шапке,

или

каждому гражданину

дать по флажку!

1926

НАШЕ НОВОГОДИЕ

”Новый год!”

Для других это просто:

о стакан

стаканом бряк!

А для нас
новогодие -
подступ
к празднованию
Октября.

Мы
лета
исчисляем снова -

не христовый считаем род.

Мы
не знаем “двадцать седьмого”,
мы
десятый приветствуем год.

Наших дней
значенью
и смыслу
подвести итоги пора.

Серых дней

обыденные числа,

на десятый

стройтесь

парад!

Скоро

всем

нам

счет предъявят:

дни свои

ерундой не мельча,

кто

и как

в обыденной яви

воплотил

слова Ильича?

Что в селе?

Навоз

и скрипучий воз?

Свод небесный
коркою вычерствел?
Есть ли там
уже
миллионы звезд,
расцветающие в электричестве?
Не купая
в прошедшем взора,
не питаясь
зрелищем древним,
кто и нынче
послал ревизоров
по советским
Марьям Андревнам?
Нам
коммуна
не словом крепка и любя
(сдашь без хлеба,
как ни крепися!).
У крестьян

уже

готовы хлеба

всем,

кто переписью переписан?

Дайте крепкий стих

годочков этак на сто,

чтоб не таял стих,

как дым клубимый,

чтоб стихом таким

звенеть

и хвастать

перед временем,

перед республикой,

перед любимой.

Пусть гремят

барабаны поступи

от земли

к голубому своду.

Занимайте дни эти -

подступы

к нашему десятому году!

Парад
из края в край растянем.
Все,
в любой работе
и чине,
рабочие и драмщики,
стихачи и крестьяне,
готовьтесь
к десятой годовщине!
Все, что красит
и радует,
все -
и слова,
и восторг,
и погоду -
все
к десятому припасем,
к наступающему году.

Стихотворения 1927 года

СТАБИЛИЗАЦИЯ БЫТА

После боев

и голодных пыток

отрос на животике солидный жирок.

Жирок заливает щелочки быта

и застывает,

тих и широк.

Люблю Кузнецкий

(простите грешного!),

потом Петровку,

потом Столешников;

по ним

в году

раз сто или двести я

хожу из “Известий”

и в “Известия”.

С восторга бросив подсолнухи лузгать,

восторженно подняв бровки,

читает работница:

”Готовые блузки.

Последний крик Петровки”.

Не зря и Кузнецкий похож на зарю,-

прижав к замерзшей витрине ноздрю,

две дамы расплылись в стончике:

“Ах, какие фестончики!”

А рядом,

учли обывателью натуру,-

портрет

кого-то безусого;

отбирайте гения

для любого гарнитура,-

все

от Казина до Брюсова.

В магазинах -

ноты для широких масс.

Пойте, рабочие и крестьяне,

последний

сердцеципательный романс

“А сердце-то в партию тянет!” ‘

В окне гражданин,

устав от ношения

портфелей,

сложивши папки,

жене,

приятной во всех отношениях,

выбирает

”глазки да лапки”.

Перед плакатом “Медвежья свадьба”

нэпачка сияет в неге:

- И мне с таким медведем

поспать бы!

Погрызи меня,

душка Эггерт.-

Сияющий дом,

в костюмах,

в белье,-

радуйся,

растратчик и мот.

“Ателье

мод”.

На фоне голосов стою,

стою

и философствую.

Свежим ветерочком в республику

вея,

звездой сияя из мрака,

товарищ Гольцман

из “Москвошвея”

обещает

”эпоху фрака”.

Но,

от смокингов и фраков оберегая охотников

(не попался на буржуазную удочку!),

восхваляет

комсомолец

товарищ Сотников

толстовку

и брючки “дудочку”.

Фрак

или рубахи синие?

Неувязка парт-и советской линии.

Меня

удивляют их слова.

Бьет разнбой в глаза.

Вопрос этот

надо

согласовать

и, разумеется,

увязать.

Предлагаю,

чтоб эта идейная драка

не длилась бессмысленно далее,

пришивать

к толстовкам

фалды от фрака

и носить

лакированные сандалии.

А чтоб цилиндр заменила кепка,

накрахмаливать кепку крепко.

Грязня сердца

и масля бумагу,
подминая
Москву
под копыта,
волокут
опять
колымагу
дореволюционного быта.
Зуди
издевкой,
стих хмурый,
вразрез
с обывательским хором:
в делах
идеи,
быта,
культуры -
поменьше
довоенных норм!

1927

БУМАЖНЫЕ УЖАСЫ

(Ощущения Владимира Маяковского)

Если б

в пальцах

держал

земли бразды я,

я бы

землю остановил на минуту:

- Внемли!

Слышишь,

перья скрипят

механические и простые,

как будто

зубы скрипят у земли? -

Человечья гордость,

смирись и улягся!

Человеки эти -

на кой они лях!

Человек

постепенно

становится кляксой

на огромных

важных

бумажных полях.

По каморкам

ютятся

людские тени.

Человеку -

сажень.

А бумажке?

Лафа!

Живет бумажка

во дворцах учреждений,

разлеглась на столах,

кейфует в шкафах.

Вырастает хвост

на сукно

в магазине,

без галош нога,

без перчаток лапа.

А бумагам?

Корзина лежит на корзине,

и для тела “дел” -

миллионы папок.

У вас

на езд

червонцы есть ли?

Вы были в Мадриде?

Не были там!

А этим

бумажкам,

чтоб плыли

и ездили,

еще

возносят

новый почтайт!

Стали

ножки-клипсы

у бывших сильных,

заменяли

инструкции

силу ума.

Люди

медленно

сходят

на должность посыльных,

в услужении

у хозяев - бумаг.

Бумажищи

в портфель

умещаются еле,

белозубую

обнажают кайму.

Скоро

люди

на жительство

влезут в портфели,

а бумаги -

наши квартиры займут.

Вижу

в будущем -

не вымыслы мои:

рупоры бумаг

орут об этом громко нам -

будет

за столом

бумага

пить чай,

человечек

под столом

валяться скомканным.

Бунтом встать бы,

развить огневые флаги,

рвать зубами бумагу б,

ядрами б выть...

Пролетарий,

и дюйм

ненужной бумаги,

как врага своего,

вконец ненавидь.

НАШЕМУ ЮНОШЕСТВУ

На сотни эстрад бросает меня,
на тысячу глаз молодежи.

Как разны земли моей племена,
и разен язык
и одежды!

Насилу,
пот стирая с виска,
сквозь горло тоннеля узкого
пролез.

И, глуша прощаньем свистка,
рванулся
курьерский
с Курского!

Заводы.

Березы от леса до хат
бегут,
листочками вороча,
и чист,

как будто слушаешь МХАТ,
московский говорочек.

Из-за горизонтов,
лесами сломанных,
толпа надвигается
мазанок.

Цветисты бочка
из-под крыш соломенных,
окрашенные разно.

Стихов навезите целый мешок,
с таланта

можете лопаться -
в ответ
снисходительно цедят смешок
уста

украинца-хлопца.
Пространства бегут,
с хвоста нарастав,
их жарит
солнце-кухарка.

И поезд

уже

бежит на Ростов,

далеко за дымный Харьков.

Поля -

на миллионы хлебных тонн -

как будто

их гладят рубанки,

а в хлебной охре

серебряный Дон

блестит

позументом кубанки.

Ревем паровозом до хрипоты,

и вот

началось кавказское -

то головы сахара высят хребты,

то в солнце -

пожарной каскою.

Лечу

ущельями, свист приглушив.

Снегов и папах седины.

Сжимая кинжалы, стоят ингуши,

следят

из седла

осетины.

Верх

гор -

лед,

низ

жар

пьет,

и солнце льет йод.

Тифлисцев

узнаешь и метров за сто:

гуляют часами жаркими,

в моднейших шляпах,

в ботинках носастых,

этакими парижакими.

По-своему

всякий

зубрит азы,

аж цифры по-своему снятся им.

У каждого третьего -

свой язык
и собственная нация.
Однажды,
забросив в гостиницу хлам,
забыл,
где я ночую.

Я
адрес
по-русски
спросил у хохла,
хохол отвечал:
- Нэ чую.-

Когда ж переходят
к научной теме,
им
рамки русского
узки;
с Тифлисской
Казанская академия

переписывается по-французски.

И я

Париж люблю сверх мер
(красивы бульвары ночью!).

Ну, мало ли что -

Бодлер,

Маларме

и эдакое прочее!

Но нам ли,

шагавшим в огне и воде

годами

борьбой прожженными,

растить

на смену себе

бульвардье

французистыми пижонами!

Используй,

кто был безъязык и гол,

свободу Советской власти.

Ищите свой корень

и свой глагол,

во тьму филологии влазьте.

Смотрите на жизнь

без очков и шор,

глазами жадными цапайте

все то,

что у вашей земли хорошо

и что хорошо на Западе.

Но нету места

злобы мазку,

не мажьте красные души!

Товарищи юноши,

взгляд - на Москву,

на русский вострите уши!

Да будь я

и негром преклонных годов

и то,

без унынья и лени,

я русский бы выучил

только за то,

что им

разговаривал Ленин.

Когда

Октябрь орудийных бурь

по улицам

кровью лился,

я знаю,

в Москве решали судьбу

и Киевов

и Тифлисов.

Москва

для нас

не державный аркан,

ведущий земли за нами,

Москва

не как русскому мне дорога,

а как огневое знамя!

Три

разных истока

во мне

речевых.

Я

не из кацапов-разинь.

Я -

дедом казак, другим -

сечевик,

а по рождению

грузин.

Три

разных капли

в себе совмещав,

беру я

право вот это -

покрыть

всесоюзных совещан.

И ваших

и русопетов.

1927

ПО ГОРОДАМ СОЮЗА

Россия - все:

и коммуна,

и волки,

и давка столиц,

и пустырьная ширь,

стоводная удаль безудержной Волги,

обдорская темь

и сиянье Кашир.

Лед за пристанью за ближней,

оковала Волга рот,

это красный,

это Нижний,

это зимний Новгород.

По первой реке в российском сторечье

скользим...

цепенеем...

зацапаны ветром...

А за волжским доисторичьем

кресты да тресты,

да разные “центро”.

Сумятица торга кипит и клокочет,

кочки разговоров

и дымные клочья,

а к ночи

не бросится говор,

не скрипнут полозья,

столетняя зелень зигзагов Кремля,

да под луной,

разметавшей волосья,

замерзающая земля.

Огромная площадь;

прорезав вкривь ее,

неслышную поступь дикарских лап

сквозь северную Скифию

я направляю

в местный ВАПП.

За версты,

за сотни,

за тыщи,

за массу

за это время заедешь, мчась,

а мы

ползли и ползли к Арзамасу

со скоростью верст четырнадцать в час.

Напротив

сели два мужичины:

красные бороды,

серые рожи.

Презрительно буркнул торговый мужчина:

- Сережи! -

Один из Сережей

полез в карман,

достал пироги,

запахнул одежду

и всю дорогу жевал корма,

ленивые фразы цедя промежду.

- Конечно...

и к Петрову...

и в Покров...

за то и за это пожалте процент...

а толку нет...

не дорога, а кровь...

с телегой тони, как ведро в колодце...

На што мой конь - крепыш,

аж и он

сломал по яме ногу...

Раз ты

правительство,

ты и должон

чинить на всех дорогах мосты.-

Тогда

на него

второй из Серез

прищурил глаз, в морщины оправленный.

- Налог-то ругашь,

а пирог-то жрешь... -

И первый Сереза ответил:

- Правильно!

Получше двадцатого,

что толковать,

не голодаем,

едим пироги.

Мука, дай бог...

хороша такова...

Но што насчет лошажьей ноги...

взыскали процент,

а мост не пролежать... -

Баючит езда дребезжаньем звонким.

Сквозь дрему

все время

про мост и про лошадь

до станции с названьем "Зименки".

На каждом доме

советский вензель

зовет,

сияет,

режет глаза.

А под вензелями

в старенькой Пензе

старушьим шепотом дышит базар.

Перед непачкой баба седа
отторговывает копеек тридцать.

- Купите платочек!

У нас
завсегда
заказывала
сама царица...-

Морозным днем отмелькала Самара,

за ней

начались азиаты.

Верблюдина

сено

провозит, замаран,

в упряжку лошажью взятый.

Университет -

горделивость Казани,

и стены его

и доньне

хранят

любовнейшее воспоминание
о великом своем гражданине.

Далеко

за годы

мысль катя,

за лекции университета,

он думал про битвы

и красный Октябрь,

идя по лестнице этой.

Смотрю в затихший и замерший зал:

здесь

каждые десять на сто

его повадкой щурят глаза

и так же, как он,

скуласты.

И смерти

коснуться его

не посметь,

стоит

у грядущего в смете!

Внимают

юноши

строфам про смерть,

а сердцем слышат:

бессмертье.

Вчерашний день

убог и низмен,

старья

премного осталось,

но сердце класса

горит в коммунизме,

и класса грудь

не разбить о старость.

1927

МОЯ РЕЧЬ НА ПОКАЗАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

ПО СЛУЧАЮ ВОЗМОЖНОГО СКАНДАЛА

С ЛЕКЦИЯМИ ПРОФЕССОРА ШЕНГЕЛИ

Я тру

ежедневно

взморщенный лоб

в раздумье

о нашей касте,

и я не знаю:

поэт -

поп,

поп или мастер.

Вокруг меня

толпа малышей,-

едва вкусившие славы,

а волос

уже

отрастили до шей

и голос имеют гнусавый.

И, образ подняв,

выходят когда

на толстожурнальный амвон,

я,

каюсь,

во храме

рвусь на скандал,
и крикнуть хочется:

- Вон!-

А вызовут в суд,-

убежденно гудя,

скажу:

- Товарищ судья!

Как знамя,

башку

держу высоко,

ни дух не дрожит,

ни коленки,

хоть я и слышал

про суровый

закон

от самого

от Крыленки.

Законы

не знают переодевания,

а без

преувеличенности,

хулиганство -

это

озорные деяния,

связанные

с неуважением к личности.

Я знаю

любого закона лютей,

что личность

уважить надо,

ведь масса -

это

много людей,

но масса баранов -

стадо.

Не зря

эту личность

рожает класс,

лелеет

до нужного часа,

и двинет,

и в сердце вложит наказ:

“Иди,
твори,
отличайся!”

Идет
и горит
докрасна,
добела...

Да что городить околичность!

Я,
если бы личность у них была,
влюбился б в ихнюю личность.

Но где ж их лицо?

Осмотрите в момент -
без плюсов,
без минусов.

Дыра!

Принудительный ассортимент
из глаз,
ушей
и носов!

Я зубы на этом деле сжевал,
я знаю, кому они копия.

В их песнях

поповская служба жива,

они -

зарифмованный опиум.

Для вас

вопрос поэзии -

нов,

но эти,

видите,

молятся.

Задача их -

выделка дьяконов

из лучших комсомольцев.

Скрывает

ученейший их богослов

в туман вдохновения радугу слов,

как чаши

скрывают

церковные.

А я

раскрываю

мое ремесло,

как радость,

мастером кованную.

И я,

вскипя

с позора с того,

ругнулся

и плюнул, уйдя.

Но ругань моя -

не озорство,

а долг,

товарищ судья.-

Я сел,

разбивши

доводы глиняные.

И вот

объявляется приговор,

так сказать,

от самого Калинина,

от самого

товарища Рыкова.

Судьей,

расцветшим розой в саду,

объявлено

тоном парадным:

- Маяковского

по суду

считать

безусловно оправданным!

1927

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ?

Слух идет

бессмысленен и гадок,

трется в уши

и сердце ежит.

Говорят,

что воли упадок

у нашей

у молодежи.

Говорят,

что иной братишка,

заработавший орден,

ныне

про вкусноты забывший ротишко

под витриной

кривит в унынье.

Что голодным вам

на зависть

окна лавок в бутылочном тыне,

и едят нэпачи и завы

в декабре

арбузы и дыни.

Слух идет

о грозном сраме,

что лишь радость

развоскресенена,

комсомольцы

лейб-гусарами

ПЬЮТ

да ноют под стих Есенина.

И доносится до нас

сквозь губы искривленную прорезь:

“Революция не удалась...

За что боролись?..”

И свои 18 лет

под наган подставят -

и нет,

или горло

впетлят в коски.

И горюю я,

как поэт,

и ругаюсь,

как Маяковский.

Я тебе

не стихи ору,

рифмы в этих делах

ни при чем;

дай

как другу

пару рук

положить

на твое плечо.

Знал и я,

что значит “не есть”,

по бульварам валялся когда,-

понял я,

что великая честь

за слова свои

голодать.

Из-под локона,

кепкой завитого,

вскинь глаза,

не грусти и не злись.

Разве есть

чему завидовать,

если видишь вот эту слизь?

Будто рыбы на берегу -

с прежним плаваньем

трудно расстаться им.

То царев горшок берегут,

то

обломанный шкаф с инкрустациями.

Вы - владыки

их душ и тела,

с вашей воли

встречают восход.

Это -

очень плевое дело,

если б

революция захотела

со счетов особых отделов

эту мелочь

списать в расход.

Но, рядясь

в любезность наносную,

мы -

взамен забытой Чеки

кормим дыней и ананасною,

ихних жен

одеваем в чулки.

И они

за все за это,

что чулки,

что плачено дорого,

строят нам

дома и клозеты

и бойцов

обучают торгу.

Что ж,

без этого и нельзя!

Сменим их,

гранит догрызя.

Или

наша воля обломалась

о сегодняшнюю

деловую малость?

Нас

дело

должно

пронизать насквозь,

скуленье на мелочность

высмей.

Сейчас

коммуне

ценен гвоздь,

как тезисы о коммунизме.

Над пивом

нашим юношам ли

склонять

свои мысли ракитовые?

Нам

пить

в грядущем

все соки земли,

как чашу

мир запрокидывая.

1927

ДАЕШЬ ИЗЯЧНУЮ ЖИЗНЬ

Даже

мерин сивый

желает

жизни изящной
и красивой.

Вертит

игриво

хвостом и гривой.

Вертит всегда,

но особо пылко -

если

навстречу

особа-кобылка.

Еще грациозней,

еще капризней

стремится человечество

к изящной жизни.

У каждого класса

свое понятие,

особые обычаи,

особое платье.

Рабочей рукою

старое выжми -

посыплются фраки,

польются фижмы.

Царь

безмятежно

в могилке спит...

Сбит Милюков,

Керенский сбит...

Но в быту

походкой рачьей

пятятся многие

к жизни фрачьей.

Отверзаю

поэтические уста,

чтоб описать

такого хлюста.

Запонки и пуговицы

и спереди и сзади.

Теряются

и отрываются

раз десять на день.

В моде

в каждой

так положено,
что нельзя без пуговицы,
а без головы можно.

Чтоб было

оправдание
для стольких запонок,
в крахмалы
туловище
сплошь заляпано.

На голове

прилизанные волосы,
посредине
пробрита
лысая полоса.

Ноги

давит
узкий хром.

В день

обмозолишься
и станешь хром.

На всех мизинцах

аршинные ногти.

Обломаются -

работу не трогайте!

Для сморкания -

пальчики,

для виду -

платочек.

Торчит

из карманчика

кружевной уголочек.

Толку не добьешься,

что ни спроси -

одни “пардоны”,

одни “мерси”.

Чтоб не было

ям

на хилых грудях,

ходит,

в петлицу

хризантемы вкрутя,

Изящные улыбки

настолько тонки,
чтоб только
виднелись
золотые коронки.
Косится на косицы -
стрельнуть за кем? -
и пошлость
про ландыш
на слюнявом языке.

А
в очереди
венерической клиники
читает
усердно
”Мощи” Калинникова.

Таким образом
день оттрудись,
разденет фигуру,
не мытую отродясь,

Зевнет
и спит,

излюблен, испит.

От хлама

в комнате

теснен, чем в каюте.

И это называется;

- Живем-с в уюте!

Лозунг:

- В ногах у старья не ползай! -

Готов

ежедневно

твердить раз сто:

изящество -

это стопроцентная польза,

удобство одежд

и жилья простор.

1927

ВМЕСТО ОДЫ

Мне б хотелось

вас

воспеть

во вдохновенной оде,

только ода

что-то не выходит.

Скольким идеалам

смерть на кухне

и под одеялом!

Моя знакомая -

женщина как женщина,

оглошшая

от примусов пыхания

и ухания,

баба советская,

в загсе венчанная,

самая передовая

на общей кухне.

Хранит она

в складах лучших дат

замужество

с парнем среднего роста;
еще не партиец,
но уже кандидат,
самый красивый
из местных писмоношцев.

Баба сердитая,
видно сразу,
потому что сожитель ейный
огромный синяк
в дополнение к глазу
приставил,
придя из питейной.

И шипит она,
выгнав мужа вон:

- Я
ему
покажу советский закон!

Вымою только
последнюю из посуды -
и прямо в милицию,
прямо в суд...-

Домыла.

Перед взятием

последнего рубежа

звонки

по кухне

рассыпался, дребезжа.

Открыла.

Расцвели миллионы почек,

высохла

по-весеннему

слезная лужа...

- Его почерк!

Письмо от мужа.-

Письмо раскаленное -

не пишет,

а пышет.

“Вы моя душка,

и ангел

вы.

Простите великодушно!

Я буду тише

воды

и ниже травы”.

Рассиялся глаз,

оплывший набок.

Слово ласковое -

мастер

дивных див.

И опять

за примусами баба,

все поняв

и все простив.

А уже

циркуля письмоносца

за новой юбкой

по улицам носятся;

раскручивая язык

витиеватой лентой,

шепчет

какой-то

оаживаемой Вере:

- Я за положительность
и против инцидентов,
которые
вредят
служебной карьере.-

Неделя покоя,
но больше
никак
не прожить
без мата и синяка.

Неделя -
и снова счастья нету,
задрались,
едва в пивнушке побыли...

Вот оно -
семейное
”перпетуум
мобиле”.

И вновь

разговоры,

и суд, и “треть”

на много часов

и недель,

и нет решимости

пересмотреть

семейственную канитель.

Я

напыщенным словам

всегдашний враг,

и, не растекаясь одами

к Восьмому марта,

я хочу,

чтоб кончилась

такая помесь драк,

пьянства,

лжи,

романтики

и мата.

1927

ЛУЧШИЙ СТИХ

Аудитория

сыплет

вопросы колючие,

старается озадачить

в записочном рвении.

- Товарищ Маяковский,

прочтите

лучшее

ваше

стихотворение. -

Какому

стиху

отдать честь?

Думаю,

упершись в стол.

Может быть,

это им прочесть,
а может,
прочесть то?
Пока
перетряхиваю
стихотворную старь
и нем
ждет
зал,
газеты
"Северный рабочий"
секретарь
тихо
мне
сказал...
И гаркнул я,
сбившись
с поэтического тона,
громче
иерихонских хайл:
- Товарищи!

Рабочими

и войсками Кантона

взят

Шанхай! -

Как будто

жесть

в ладонях мнут,

оваций сила

росла и росла.

Пять,

десять,

пятнадцать минут

рукоплескал Ярославль.

Казалось,

буря

версты крыла,

в ответ

на все

чемберленьи ноты

катилась в Китай,-

и стальные рыла

отворачивали

от Шанхая

дредноуты.

Не приравняю

всю

поэтическую слякоть,

любую

из лучших поэтических слав,

не приравняю

к простому

газетному факту,

если

так

ему

рукоплещет Ярославль.

О, есть ли

привязанность

большей силищи,

чем солидарность,

прессующая

рабочий улей?!

Рукоплеци, ярославец,

маслобой и текстильщик,

незнаемым

и родным

китайским кули!

1927

“ЛЕНИН С НАМИ!”

Бывают события:

случатся раз,

из сердца

высекут фразу.

И годы

не выдумать

лучших фраз,

чем сказанная

сразу.

Таков

и в Питер

ленинский въезд

на башне

броневика.

С тех пор

слова

и восторг мой

не ест

ни день,

ни год,

ни века.

Все так же

вскипают

от этой даты

души

фабрик и хат.

И я

привожу вам

просто цитаты

из сердца

и из стиха.

Февральское пламя

померкло быстро,

в речах

утопили

радость февральскую,

Десять

министров-капиталистов

уже

на буржуев

смотрят с ласкою.

Купался

Керенский

в своей победе,

задав

революции

адвокатский тон.

Но вот

пошло по заводу:

- Едет!

Едет!

- Кто едет?

- Он!

“И в город,

уже

заплывающий салом,

вдруг оттуда,

из-за Невы,

с Финляндского вокзала

по Выборгской

загрохотал броневик”,

Была

простая

машина эта,

как многие,

шла над Невойю.

Прошла,

а нынче

по целому свету

дыханье ее

броневое.

“И снова

ветер,

свежий и крепкий,

валы

революции

поднял в пене.

Литейный

залили

блузы и кепки.

- Ленин с нами!

Да здоровствует Ленин!”

И с этих дней

езде

и во всем

имя Ленина

с нами.

Мы

будем нести,

несли

и несем -

его,

Ильичево, знамя.

“- Товарищи! -

и над головою

первых сотен

вперед

ведущую

руку выставил.

- Сбросим

эсдечества

обветшавшие лохмотья!

Долой

власть

соглашателей и капиталистов!”

Тогда

рабочий,

впервые спрошенный,

еще нестройно

отвечал:

- Готов!-

А сегодня

буржуй

распластан, сброшенный,

и нашей власти -

десять годов.

“- Мы -

голос

воли низа,

рабочего низа

всего света.

Да здравствует

партия,

строящая коммунизм!

Да здравствует

восстание

за власть Советов!”

Слова эти

слушали

пушки мордастые,

и щерился

белый,

штыками блестя.

А нынче

Советы и партия

здравствуют

в союзе

с сотней миллионов крестьян.

“Впервые

перед толпой обалделой,

здесь же,

перед тобою,

близ -

встало,

как простое

делаемое дело,

недостижимое слово

- “социализм”.

А нынче

в упряжку

взяты частники.

Коопов

стосортных

сети вьем,

показываем

ежедневно

в новом участке

социализм

живьем.

“Здесь же,

из-за заводов гудящих,

сияя горизонтом

во весь свод,

встала

завтрашня

коммуна трудящихся -

без буржуев,

без пролетариев,

без рабов и господ”.

Коммуна -

еще

не дело дней,

и мы

еще

в окружении врагов,

но мы

прошли

по дороге к ней
десять
самых трудных шагов.

1927

ВЕСНА

В газетах

пишут

какие-то дяди,

что начал

любовно

постукивать дятел.

Скоро

вид Москвы

скопируют с Ниццы,

цветы создадут

по весенним велениям.

Пишут,

что уже

синицы

оглядывают гнезда

с любовным вождением,

Газеты пишут:

дни горячей,

налетели

отряды

передовых грачей.

И замечает

естествоиспытательское око,

что в березах

какая-то

циркуляция соков.

А по-моему -

дело мрачное:

начинается

горячка дачная.

Плюнь,

если рассказывает

какой-нибудь шут,

как дачные вечера

милы,

тихи.

Опишу

хотя б,

как на даче

выделяваю стихи.

Не растрчивая энергию

среди ерундовых трат,

решаю твердо

писать с утра.

Но две девицы,

и тощи

и рябы,

заставили идти

искать грибы.

Хожу в лесу-с,

на каждой колючке

распинаюсь, как Иисус.

Устав до того,

что не ступишь на ноги,

принес сыроежку

и две поганки.

Принесши трофей,

еле отделяюсь

от упомянутых фей.

С бумажкой

лежу на траве я,

и строфы

спускаются,

рифмами вея.

Только

над рифмами стал сопеть,

и -

меня переезжает

кто-то

на велосипеде.

С балкона,

куда уселся, мыча,

сбежал

вовнутрь

от футбольного мяча.

Полторы строки намарал -

и пошел

ловить комара.

Опрокинув чернильницу,

задув свечу,

подымаюсь,

прыгаю,

чуть не лечу.

Поймал,

и при свете

мерцающих планет

рассматриваю -

хвост малярный

или нет?

Уселся,

но слово

замерло в горле.

На кухне крик:

- Самовар сперли! -

Адамом,

во всей первородной красе,

бегу

за жуликами

по василькам и росе.

Отступаю

от пары

бродячих дворняжек,

заинтересованных

видом

юных ляжек.

Сел

в меланхолии.

В голову

ни строчки

не лезет более.

Два,

Ложусь в идиллии.

К трем часам -

уснул едва,

а четверть четвертого

уже разбудили.

На луже,

зажатой

берегам в бока,
орет
целуемая
лодочникова дочка...
“Славное море -
священный Байкал,
Славный корабль -
омулевая бочка”.

1927

ОСТОРОЖНЫЙ МАРШ

Гляди, товарищ, в оба!
Вовсю раскрой глаза!
Британцы
твердолобые
республике грозят.
Не будь,
товарищ,
слепым

и глухим!

Держи,

товарищ,

порох

сухим!

Стучат в бюро Аркосовы,

со всех сторон насеив:

как ломом,

лбом кокосовым

ломают мирный сейф.

С такими,

товарищ,

не сварись

ухи.

Держи,

товарищ,

порох

сухим!

Знакомы эти хари нам,

не нов для них подлог:

подпишут

под Бухарина
любой бумажки клочок.

Не жаль им,
товарищи,
бумажной
трухи.

Держите,

товарищи,
порох
сухим!

За барыней,
за Англией
и шавок лай летит,-
уже

у новых Врангелей
взыгрался аппетит.

Следи,
товарищ,
за лаем
лихим.

Держи,
товарищ,
порох
сухим!

Мы строим,
жнем
и сеем.

Наш лозунг:

”Мир и гладь”.

Но мы
себя
сумеем
винтовкой отстоять.

Нас тянут,
товарищ,
к войне
от сохи.

Держи,
товарищ,
порох
сухим!

1927

ВЕНЕРА МИЛОССКАЯ

И ВЯЧЕСЛАВ ПОЛОНСКИЙ

Сегодня я,

поэт,

боец за будущее,

оделся, как дурак.

В одной руке -

венок

огромный

из огромных незабудицей,

в другой -

из чайных -

розовый букет.

Иду

сквозь моторно-бензную мглу

в Лувр.

Складку

на брюке

выправил нервно;

не помню,

платил ли я за билет;

и вот

зала,

и в ней

Венерино

дезабиле.

Первое смущенье.

Рассеялось когда,

я говорю:

- Мадам!

По доброй воле,

несмотря на блеск,

сюда

ни в жизнь не наострил бы лыж.

Но я

поэт СССР -

ноблес

оближ! (*)

У нас

в республике

не меркнет ваша слава.

Эстеты

мрут от мраморного лоска.

Короче:

я -

от Вячеслава

Полонского.

Носастей грека он.

Он в вас души не чает.

Он

поэлладистей Лициниев и Люциев,

хоть редактирует

и “Мир”,

и “Ниву”,

и “Печать

и революцию”.

Он просит передать,

что нет ему житья.

Союз наш

грубоват для тонкого мужчины.

Он много терпит там

от мужичья,

от лефов и мастеровщины.

Он просит передать,

что, “леф” и “праф” костя,

в Элладу он плывет

надклассовым сознанием.

Мечтает он

об эллинских гостях,

о тогах,

о сандалиях в Рязани,

чтобы гекзаметром

сменилась

лефовца строфа,

чтобы Радимовы

скакали по дорожке,

и чтоб Радимов

был

не человек, а фавн,-

чтобы свирель,

набедренник

и рожки.

Конечно,

следует иметь в виду,-

у нас, мадам,

не все такие там.

Но эту я

передаю белиберду.

На ней

почти официальный штамп.

Велено

у ваших ног

положить

букеты и венок.

Венера,

окажите честь и счастье,

катите

в сны его

элладских дней ладью...

Ну,

будет!

Кончено с официальной частью.

Мадам,

адью! -

Ни улыбки,

ни приветов с уст ее,

И пока

толпу очередную

загоняет Кук,

расстаемся

без рукопожатий

по причине полного отсутствия

рук.

Иду -

авто дудит в дуду.

Танцую - не иду.

Домой!

Внимателен

и нем

стою в моем окне.

Напротив окон

гладкий дом

горит стекольным льдом.

Горит над домом

букв жара -

гараж.

Не гараж -

сам бог!

“Миль вуатюр,

де сан бокс”.

В переводе на простой:

“Тысяча вагонов,

двести стойл”.

Товарищи!

Вы

видали Ройльса?

Ройльса,

который с ветром сросся?

А когда стоит -

кит.

И вот этого

автомобильного кита ж

подымают

на шестой этаж!

Ставши

уменьшеннее мышей,

тысяча машинных малышей

спит в объятиях

гаража-колосса.

Ждут рули -

дорваться до руки.

И сияют алюминием колеса,

круглые,

как дураки.

И когда

опять

вдыхают на заре

воздух

миллионом

радиаторных ноздрей,

кто заставит

и какую дуру

нос вертеть

на Лувры и скульптуру?!

Автомобиль и Венера - старо-с?

Пускай!

Поновее и АХРРов и роз.

Мещанская жизнь

не стала иной,

Тряхнем и мы футурстариной.

Товарищ Полонский!

Мы не позволим

любителям старых

дворянских манер

в лицо строителям

тыкать мозоли,

веками

натертые

у Венер.

* Положение обязывает (фр. noblesse oblige).

ГОСПОДИН “НАРОДНЫЙ АРТИСТ”

Парижские “Последние новости” пишут:

”Шаляпин пожертвовал священнику

Георгию Спасскому на русских

безработных в Париже 5000 франков.

1000 отдана бывшему морскому агенту,

капитану 1-го ранга Дмитриеву,

1000 роздана Спасским лицам, ему

знакомым, по его усмотрению, и

3000 - владыке митрополиту

Евлогию”.

Вынув бумажник из-под хвостика фрака,

добрейший

Федор Иваныч Шаляпин

на русских безработных

пять тысяч франков

бросил

на дно

поповской шляпы.

Ишь сердобольный,

как заботится!

Конечно,

плохо, если жмет безработица.

Но...

удивляют получающие пропитанье.

Почему

у безработных званье капитанье?

Ведь не станет

лезть

морское капитанство

на завод труда

и в шахты пота.

Так чего же ждет

Евлогиева паства,

и какая

ей

нужна работа?

Вот если

за нынешней грозой нотною

пойдет война

в орудийном аду -
шляпинские безработные

живо

себе

работу найдут.

Впервые

тогда

комсомольская масса,

раскрыв

пробитые пулями уши,

сведет

знакомство

с шляпинским басом

через бас

белогвардейских пушек.

Когда ж

полями,

кровью политыми,

рабочие

бросят

руки и ноги,-

вспомним тогда

безработных митрополита

Евлогия.

Говорят,

артист -

большой ребенок.

Не знаю,

есть ли

у Шаляпина бонна.

Но если

бонны

нету с ним,

мы вместо бонны

ему объясним.

Есть класс пролетариев

миллионногорбый

и те,

кто покорен фаустовскому тельцу.

На бой

последний

класса оба

сегодня

сошлись

лицом к лицу.

И песня,

и стих -

это бомба и знамя,

и голос певца

подымает класс,

и тот,

кто сегодня

поет не с нами,

тот -

против нас.

А тех,

кто под ноги атакующим бросится,

с дороги

уберет

рабочий пинок.

С барина

с белого

сорвите, наркомпросцы,

народного артиста

красный венок!

1927

НУ, ЧТО Ж!

Раскрыл я

с тихим шорохом

глаза страниц...

И потянуло

порохом

от всех границ.

Не вновь,

которым за двадцать,

в грозе расти.

Нам не с чего

радоваться,

но нечего

грустить.

Бурна вода истории.

Угрозы

и войну

мы взрежем

на просторе,

как режет

киль волну.

1927

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПОДХАЛИМ

В любом учреждении

есть подхалим.

Живут подхалимы,

и неплохо им.

Подчас молодежи,

на них глядя,

хочется

устроиться -

как устроился дядя.

Но как

в доверие к начальству влезть?

Ответственного

не возьмешь на низкую лесть.

Например,

распахивать перед начальством

двери -

не к чему.

Начальство тебе не поверит,

не оценит

энергии

излишнюю трату -

подумает,

что это

ты -

по штату.

Или вот еще

способ

очень грубый:

трубить

начальству

в пионерские трубы.

Еще рассердится:

- Чего, мол, ради

ежесекундные

праздники

у нас

в отряде?

Надо

льстить

умело и тонко.

Но откуда

тонкость

у подростка и ребенка?!

И мы,

желанием помочь палимы,

выпускаем

”Руководство

для молодого подхалимы”.

Например,

начальство

делает доклад -

выкладывает канцелярской премудрости

клад.

Стакан

ко рту

поднесет рукой

и опять

докладывает час-другой.

И вдруг

воплъ посредине доклада:

- Время

докладчику

ограничить надо! -

Тогда

ты,

сотрясая здание,

требуй:

- Слово

к порядку заседания!

Доклад -

звезда среди мрака и темени.

Требую

продолжать

без ограничения времени! -

И будь уверен -

за слова за эти

начальство запомнит тебя

и заметит.

Узнав,

что у начальства

сочинения есть,

спеши

печатный отчетишко прочесть.

При встрече

с начальством,

закатывая глазки,

скажи ему

голосом,

полным ласки:

- Прочел отчет.

Не отчет, а роман!

У вас

стихи бы

вышли задарма!

Скажите,

не вы ли

автор “Антидюринга”?

Тоже

написан

очень недурненько.-

Уверен будь -

за оценки за эти

и начальство

оценит тебя

и заметит.

Увидишь:

начальство

едет пьяненький

в казенной машине

и в дамской компанийке,

Пиши

в стенгазету,

возмущенный насквозь:

“Экономия экономии рознь.

Такую экономию -

высмейте смешком!

На что это похоже?!

Еле-еле

со службы

и на службу,

таскаясь пешком,

начканц

волочит свои портфели”,

И ты

преуспеешь на жизненной сцене -

начальство

заметит тебя

и оценит.

А если

не хотите

быть подхалимой,

сами

себе

не зажимайте рот:

увидев

безобразие,

не проходите мимо

и поступайте

не по стиху,

а наоборот.

1927

КРЫМ

Хожу,

гляжу в окно ли я -

цветы

да небо синее,

то в нос тебе магнолия,

то в глаз тебе

глициния.

На молоко

сменил

чай

в сиянье

лунных чар.

И днем

и ночью

на Чаир

вода

бежит, рыча.

Под страшной

стражей

волн-борцов

глубины вод гноят

повыброшенных

из дворцов

тритонов и наяд.

А во дворцах

другая жизнь;

насытись

водной блажью,

иди, рабочий,

и ложись

в кровать

великокняжью.

Пылают горы-горны,

и море синемлузится.

Людей

ремонт ускоренный

в огромной

крымской кузнице.

1927

ТОВАРИЩ ИВАНОВ

Товарищ Иванов -

мужчина крепкий,

в штаты врос

покрепше репки.

Сидит

бессменно

у стула в оправе,

придерживаясь

на службе

следующих правил.

Подходит к телефону -

достоинство

складкой.

- Кто спрашивает?

- Товарищ тот -

И сразу

рот

в улыбке сладкой -

как будто

у него не рот, а торт.

Когда

начальство

рассказывает анекдот,

такой,

от которого

покраснел бы и дуб,-

Иванов смеется,

смеется, как никто,

хотя

от флюса

ноет зуб.

Спросишь мнение -

придет в смятеньце,

деликатно

отложит

до дня

до следующего,

а к следующему

узнаете

мненьце -

уважаемого

товарища заведующего.

Начальство

одно

смахнут, как пыльцу...

Какое

ему,

Иванову,

дело?

Он служит

так же

другому лицу,

его печенке,

улыбке,

телу.

Напялит

на себя

начальственную маску,

начальственные привычки,

начальственный

вид.

Начальство ласковое -

и он

ласков.

Начальство грубое -

и он грубит.

Увидя безобразие,

не протестует впустую.

Протест

замирает

в зубах тугих.

- Пускай, мол,
первыми
другие протестуют.

Что я, в самом деле,
лучше других? -

Тот -
уволен.
Этот -
сокращен.

Бессменно
одно
Ивановье рыльце.

Везде
и всюду
пролезет он,
подмыленный
скользким
подхалимским
мыльцем.

Впрочем,
написанное

ни для кого не ново -

разве нет

у вас

такого Иванова?

Кричу

благим

(а не просто) матом,

глядя

на подобные истории:

- Где я?

В лонах

красных наркоматов

или

в дооктябрьской консистории?!

1927

ПОСМОТРИМ САМИ, ПОКАЖЕМ ИМ

Рабочий Москвы,

ТЫ ВИДИШЬ

езде:

в котлах -

асфальтное варево,

стропилы,

стук

и дым весь день,

и цены

сползают товары.

Союз расцветет

у полей в оправе,

с годами

разделаем в рай его.

Мы землю

завоевали

и правим,

чистя ее

и отстраивая.

Буржуи

тоже,

в кулак не свистя,

чихают

на наши дымы.

Знают,

что несколько лет спустя -

мы -

будем непобедимы.

Открыта

шпане

буржуев казна,

хотят,

чтоб заводчик пас нас.

Со всех сторон,

гулка и грозна,

идет

на Советы

опасность.

Сегодня

советской силы показ:

в ответ

на гнев чемберленский

в секунду

наденем

противогаз,
штыки рассыаем в блеске.

Не думай,
чтоб займами
нас одарили.

Храни
республику
на свои гроши.

В ответ Чемберленам
взлетай, эскадрилья,
винтами
вражье небо кроши!

Страна у нас
мягка и добра,
но землю Советов -
не трогайте:

тому,
кто свободу придет отобрать,
сумеет
остричь
когти.

1927

ИВАН ИВАНОВИЧ ГОНОРАРЧИКОВ

(Заграничные газеты печатают
безымянный протест русских писателей.)

Писатель

Иван Иваныч Гонорарчиков

правительство

советское

обвиняет в том,

что живет-де писатель

запечатанным ларчиком

и владеет

замок

обцензуренным ртом.

Еле

преодолевая

пивную одурь,

напевает,

склонясь

головой соловой:

- О, дайте,

дайте мне свободу

слова.-

Я тоже

сделан

из писательского теста.

Действительно,

чего этой цензуре надо?

Присоединяю

голос

к писательскому протесту:

ознакомимся

с писательским

ларчиком-кладом!

Подойдем

к такому

демократично и ласково.

С чего начать?

Отодвинем

товарища

Лебедева-Полянского

и сорвем

с писательского рта

печать.

Руки вымоем

и вынем

содержимое.

В начале

ротика -

пара

советских анекдотиков.

Здесь же

сразу,

от слюней мокра,

гордая фраза:

- Я -

демократ! -

За ней -

другая,

длинней, чем глиста:

- Подайте

тридцать червонцев с листа! -

Что зуб -

то светоч.

Зубовная гниль

светит,

как светят

гнилушки-огни.

А когда

язык

приподняли робкий,

сидевший

в глотке

наподобие пробки,

вырвался

визг осатанелый:

- Ура Милюкову,

даешь Дарданеллы! -

И сразу

все заорали:

- Закройте-ка

недра

благоухающего ротика! -

Мы

цензурой

белые враки обводим,

чтоб никто

не мешал

словам о свободе.

Чем точить

демократические лясы,

обливаясь

чаями

до четвертого поту,

поможем

и словом

свободному классу,

силой

оберегающему

и строящему свободу.

И вдруг

мелькает

мысль-заря:

а может быть,

я

и рифмую зря?

Не эмигрант ли

грязный

из бороденки вшивой

вычесал

и этот

протестик фальшивый?!

1927

ЧУДЕСА

Как днище бочки,

правильным диском

стояла

луна

над дворцом Ливадийским.

Взошла над землей

и пошла заливать ее,

и льется на море,

на мир,

на Ливадию.

В царевых дворцах -

мужики-санаторники.

Луна, как дура,

почти в исступлении,

глядят

глаза

блинорожия плоского

в афишу на стенах дворца:

”Во вторник

выступление

товарища Маяковского”.

Сам самодержец,

здесь же,

рядом,

гонял по залам

и по миллиардам.

И вот,

где Романов

дулся с маркерами,

шары

ложа

под свитское ржание,

читаю я

крестьянам

о форме

стихов -

и о содержании.

Звонок.

Луна

отодвинулась тусклая,

и я,

в электричестве,

стою на эстраде.

Сидят предо мною

рязанские,

тульские,

почесывают бороды русские,

ерошат пальцами

русые пряди.

Их лица ясны,

яснее, чем блюдце,

где надо - хмурятся,

где надо -

смеются.

Пусть тот,

кто Советам

не знает цену,

со мною станет

от радости пьяным:

где можно

еще

читать во дворце -

что?

Стихи!

Кому?

Крестьянам!

Такую страну

и сравнивать не с чем,-

где еще

мыслимы

подобные вещи?!

И думаю я

обо всем,

как о чуде.

Такое настало,

а что еще будет!

Вижу:

выходят

после лекции

два мужика

слоновъей комплекции.

Уселись

вдвоем

под стеклянный шар,

и первый

второму

заметил:

- Мишка,

оченно хороша -

эта

последняя

была рифмишка.-

И долго еще

гудят ливадийцы

на желтых дорожках,

у синей водицы.

1927

МАРУСЯ ОТРАВИЛАСЬ

Вечером после работы этот комсомолец

уже не ваш товарищ. Вы не называйте

его Борей, а, подделываясь под

гнусавый французский акцент,

должны называть его “Боб”...

”Комс. правда”.

В Ленинграде девушка-работница

отравилась, потому что у нее не было
лакированных туфель, точно таких же,
какие носила ее подруга Таня...

”Комс. правда”.

Из тучки месяц вылез,
молоденький такой...

Маруська отравилась,
везут в прием-покой.

Понравился Маруське

один

с недавних пор:

нафабранные усики,
Расчесанный пробор.

Он был

монтером Ваней,

но...

в духе парижан,
себе

присвоил званье:

“электротехник Жан”.

Он говорил ей часто

одну и ту же речь:

- Ужасное мещанство -

невинность

зря

беречь.-

Сошлись и погуляли,

и хмурит

Жан

лицо, -

нашел он,

что

у Ляли

красивше бельецо.

Марусе разнесчастной

сказал, как джентльмен:

- Ужасное мещанство

семейный

этот

плен.-

Он с ней

расстался

ровно
через пятнадцать дней,
за то,
что лакированных
нет туфелек у ней.

На туфли
денег надо,
а денег
нет и так...

Себе
Маруся
яду
купила
на пятак.

Короткой
жизни
точка.

- Смертель-ный
я-яд
испит...-

В малиновом платочке

в гробу

Маруся

спит.

Развылся ветер гадкий.

На вечер,

ветру в лад,

в ячейке

об упадке

поставили

доклад.

Почему?

В сердце

без лесенки

лезут

эти песенки.

Где родина

этих

бездарных романсов?

Там,

где белые

лаются моською?

Нет!

Эту песню

родила масса -

наша

комсомольская.

Легко

врага

продырявить наганом.

Или -

голову с плеч,

и саблю вытри.

А как

сейчас

нащупать врага нам?

Таится.

Хитрый!

Во что б ни обулись,

что б ни надели -

обноски

буржуев

у нас на теле.

И нет

тебе

пути-пряника.

Нашей

культуришке

без году неделя,

а ихней -

века!

И растут

черные

дурни

и дуры,

ничем не защищенные

от баракла культуры.

На улицу вышел -

глаза разопри!

В каждой витрине

буржуевы обноски:

какая-нибудь

шляпа
с пером “распри”,
и туфли
показывают
лакированные носики.

Простенькую
блузу нам
и надеть конфузно.

На улицах,
под руководством
Гарри Пилей,

расставило
сети
Совкино,-

от нашей
сегодняшней
трудной были

уносит
к жизни к иной.

Там
ни единого

ни Ваньки,

ни Пети,

одни

Жанны,

одни

Кэти.

Толча комплименты,

как воду в ступке,

люди

совершают

благородные поступки.

Все

бароны,

графы - все,

живут

по разным

роскошным городам,

ограбят

и скажут:

- Мерси, мусье,-

изнасилуют

и скажут:

- Пардон, мадам.-

На ленте

каждая -

графиня минимум.

Перо в шляпу

да серьги в уши.

Куда же

сравниться

с такими графинями

заводской

Феклуше да Марфуше?

И мальчики

пачками

стреляют за нэпачками.

Нравятся

мальчикам

в маникюре пальчики.

Играют

этим пальчиком

нэпачки

на рояльчике.

А сунешься в клуб -

речь рвотная.

Чешут

языками

чиновноустые.

Раз международное,

два международное.

но нельзя же до бесчувствия!

Напротив клуба

дверь пивнушки.

Веселье,

грохот,

как будто пушки!

Старается

разная

музыкальная челядь

пианинить

и виолончелить.

Входите, товарищи,

зайдите, подружечки,

выпейте,

пожалуйста,

по пенной кружечке!

Что?

Крою

пиво пенное,-

только что вам

с этого?!

Что даю взамен я?

Что вам посоветовать?

Хорошо

и целоваться,

и вино.

Но...

вино и поэзия,

и если

ее

хоть раз

по-настоящему

испили рты,
ее
не заменит
никакое питье,
никакие пива,
никакие спирты.

Помни

ежедневно,
что ты
зодчий
и новых отношений
и новых любовей,-
и станеет
ерундовым
любовный эпизодчик
какой-нибудь Любы
к любому Вове.

Можно и кепки,

можно и шляпы,
можно

и перчатки надеть на лапы.

Но нет

на свете

прекрасней одежды,

чем бронза мускулов

и свежесть кожи.

И если

подыметесь

чисты и стройны,

любую

одежу

заказывайте Москвошвею,

и...

лучшие

девушки

нашей страны

сами

бросятся

вам на шею.

1927

ПИСЬМО К ЛЮБИМОЙ МОЛЧАНОВА,
БРОШЕННОЙ ИМ,

как о том сообщается в N 219

”Комсомольской правды”

в стихе по имени “Свидание”

Слышал -

вас Молчанов бросил,

будто

он

предпринял это,

видя,

что у вас

под осень

нет

”изячного” жакета.

На косынку

цвета синьки

смотрит он

и цедит еле:

- Что вы

ходите в косынке?

Да и...

мордой постарели?

Мне

пожалте

грудь тугую.

Ну,

а если

нету этаких...

Мы найдем себе другую

в разызысканной жакетке.-

Припомадясь

и прикрасясь,

эту

гадость

вливши в стих,

хочет

он

марксистский базис

под жакетку

подвести.

“За боль годов,

за все невзгоды

глухим сомнениям не быть!

Под этим мирным небосводом

хочу смеяться

и любить”.

Сказано веско.

Посмотрите, дескать:

шел я верхом,

шел я низом,

строил

мост в социализм,

не достроил

и устал

и уселся

у моста.

Травка

выросла

у моста,

по мосту

идут овечки,

мы желаем

- очень просто! -

отдохнуть

у этой речки.

Заверните ваше знамя!

Перед нами

ясность вод,

в бок -

цветочки,

а над нами -

мирный-мирный небосвод.

Брошенная,

не бойтесь красивого слога

поэта,

музой венчанного!

Просто

и строго

ответьте

на лиру Молчанова:

- Прекратите ваши трели!

Я не знаю,

я стара ли,

но вы,

Молчанов,

постарели,

вы

и ваши пасторали.

Знаю я -

в жакетах в этих

на Петровке

бабья банда.

Эти

польские жакетки

к нам

провозят

контрабандой.

Чем, служа

у муз

по найму,

на мое

тряпье

КОСИТЬСЯ,

ВЫ Б

ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ЗАЙМОМ

ПОМОГЛИ

РОЖДЕНЬЮ

СИТЦЕВ.

Череп,

ШТО ЛЬ,

ПУСТЕЕТ ЧАНОМ,

ВЫБИЛ

МЫСЛИ

ГРОХОТ ЛИРНЫЙ?

Это где же

ВЫ,

Молчанов,

небосвод

узрели

мирный?

В гущу

ваших роздыхов,

под цветочки,

на реку
заграничным воздухом
не доносит гарьку?

Или

за любовной блажью
не видать
угрозу вражью?

Литературная шатия,
успокойте ваши нервы,
отойдите -
вы мешаєте
мобилизациям и маневрам.

1927

“МАССАМ НЕПОНЯТНО”

Между писателем
и читателем
стоят посредники,

и вкус

у посредника

самый средненький.

Этаких

средненьких

из посреднической рати

тыща

и в критиках

и в редакторате.

Куда бы

МЫСЛЬ ТВОЯ

ни скакала,

ЭТОТ

все

озирает сонно:

- Я

человек

другого закала.

Помню, как сейчас,

в стихах

у Надсона...

Рабочий

не любит

строчек коротеньких.

А еще

посредников

кроет Асеев.

А знаки препинания?

Точка -

как родинка.

Вы

стих украшаете,

точки рассеяв.

Товарищ Маяковский,

писали б ямбом,

двугривенный

на строчку

прибавил вам бы.-

Расскажет

несколько

средневековых легенд,

объяснение

часа на четыре затянет,
и ко всему

приказывает

унылый интеллигент:

- Вас

не понимают

рабочие и крестьяне.-

Сникает

автор

от сознания вины.

А этот самый

критик влиятельный

крестьянина

видел

только до войны,

при покупке

на даче

ножки телятины.

А рабочих

и того менее -

случайно

двух

во время наводнения.

Глядели

с моста

на места и картины,

на разлив,

на плывущие льдины.

Критик

обошел умиленно

двух представителей

из десяти миллионов.

Ничего особенного -

руки и груди...

Люди - как люди!

А вечером

за чаем

сидел и хвастал:

- Я вот

знаю

рабочий класс-то.

Я

душу

прочел

за их молчаньем -

ни упадка,

ни отчаяния.

Кто может

читаться

в таком классе?

Только Гоголь,

только классик.

А крестьянство?

Тоже.

Никак не иначе.

Как сейчас помню -

весною, на даче...-

Этакие разговорчики

у литераторов

у нас

часто

заменяют

знание масс.

И идут

дореволюционного образца

творения слова,

кисти

и резца.

И в массу

плывет

интеллигентский дар -

грезы,

розы

и звон гитар.

Прошу

писателей,

с перепугу бледных,

бросить

высюсюкивать

стихи для бедных.

Понимает

ведущий класс

и искусство

не хуже вас.

Культуру

высокую

в массы двигай!

Такую,

как и прочим.

Нужна

и понятна

хорошая книга -

и вам,

и мне,

и крестьянам,

и рабочим.

1927

РАЗМЫШЛЕНИЯ О МОЛЧАНОВЕ ИВАНЕ

И О ПОЭЗИИ

Я взял газету

и лег на диван.

Читаю:

”Скучает

Молчанов Иван”.

Не скрою, Ванечка!

скушно и нам.

И ваши стишонки -

скуки вина.

Десятый Октябрь

у всех на носу,

а вы

ухватились

за чью-то косу.

Любите

и Машу

и косы ейные.

Это

ваше

дело семейное.

Но что нам за толк

от вашей

от бабы?!

Получше

стишки

писали хотя бы.

Но плох ваш роман.

И стих неказист.

Вот так

любил бы

любой гимназист.

Вы нам обещаете,

скушный Ваня,

на случай нужды

пойти, барабаня.

Де, будет

туман.

И отверзнете рот,

на весь

на туман

заорете:

- Вперед! -

Де,

- выше взвивайте

красное знамя!

Вперед,переплетчики,

а я -

за вами.-

Орать

”Караул!”,

попавши в туман?

На это

не надо

большого ума.

Сегодняшний

день

возвеличить вам ли,

в хвосте

у событий

о девушках мямля?!

Поэт

настоящий

вздувает

заранее

из искры

неясной -

ясное знание.

1927

Стихотворения 1929-1930 годов

ПЕРЕКОПСКИЙ ЭНТУЗИАЗМ!

Часто

сейчас

по улицам слышишь

разговорчики

в этом роде:

“Товарищи, легше,

товарищи, тише.

Это

вам

не 18-й годик!”

В нору

влезла

гражданка Кротиха,

в нору

влез

гражданин Крот.

Радуются:

”Живем ничего себе,

тихо.

Это

вам

не 18-й год!”

Дама

в шляпе рубликов на сто

кидает

кому-то,

запахивая котик:

“Не толкаться!

Но-но!

Без хамства!

Это

вам

не 18-й годик!”

Малого

мелочь

работой скосила.

В унынье

у малого

опущен рот...

“Куда, мол,

девать

молодецкие силы?

Это

нам

не 18-й год!”

Эти

потоки

слюнявого яда

часто

сейчас

по улице льются...

Знайτε, граждане!

И в 29-м

длится

и ширится

Октябрьская революция.

Мы живем

приказом

октябрьской воли.

Огонь

”Авроры”

у нас во взоре.

И мы

обывателям

не позволим

баррикадные дни

чернить и позорить.

Года

не вымерить

по единой мерке.

Сегодня

равноценны

храбрость и разум.

Борись

и в мелочах

с баррикадной энергией,
в стройку
влей
перекопский энтузиазм.

1929

МРАЧНОЕ О ЮМОРИСТАХ

Где вы,
бодрые задиры?
Крыть бы розгой!
Взять в слезу бы!
До чего же
наш сатирик
измельчал
и обеззубел!
Для подхода
для такого
мало,
што ли,

жизнь дрянна?

Для такого

Салтыкова -

Салтыкова-Щедрина?

Заголовком

жирно-алым

мозжечок

прикрывши

тощей,

ходят

тихо

по журналам

дореформенные тещи.

Саранчой

улыбки выев,

ходят

нэпманам на страх

анекдоты гробовые -

гроб

о фининспекторах.

Или,

злой измусоля

сотню

строк

в бумажный крах,

пишут

про свои мозоли

от зажать в цензорах.

Дескать,

в самом лучшем стиле,

будто

розы на заре,

лепестки

пораспустили б

мы

без этих цензурей.

А поди

сними рогатки -

этаких

писцов стада

пару

анекдотов гадких

ткнут -

и снова пустота.

Цензоров

обвыли воем.

Я ж

другою

мыслью ранен:

жалко бедных,

каково им

от прочтения

столькой дряни?

Обличитель,

меньше кремю,

очень

темы

хороши.

О хорошенькую тему

зуб

не жалко искрошить.

Дураков

больших

обдумав,

взяли б

в лапы

лупы вы.

Мало, што ли,

помпадуров?

Мало -

градов Глуповых?

Припаси

на зубе

яд,

в километр

жало вызьмей

против всех,

кто зря

сидят

на труде,

на коммунизме!

Чтоб не скрылись,

хвост упрятав,

крупных

ВЫЛОВИ НАЛИМОВ -
кулаков
и бюрократов,
дураков
и подхалимов.

Измельчал
и обеззубел,
обэстетился сатирик.
Крыть бы в розги,
взять в слезу бы!
Где вы,
бодрые задиры?

1929

УРОЖАЙНЫЙ МАРШ

Добьемся урожая мы -
втройне,
земля,

рожай!

Пожалте,

уважаемый

товарищ урожай!

Чтоб даром не потели мы

по одному,

по два -

колхозами,

артелями

объединись, братва.

Земля у нас хорошая,

землица неплоха,

да надобно

под рожь ее

заранее вспахать.

Чем жить, зубами щелкая

в голодные года,

с проклятою

с трехполкою

покончим навсегда.

Вредителю мы

начисто
готовим карачун.
Сметем с полей
кулачество,
сорняк
и саранчу.
Разроем складов завали.
От всех
ответа ждем,-
чтоб тракторы
не ржавели
впустую под дождем.
Поля
пройдут науку
под ветром-игруном...
Даешь
на дружбу руку,
товарищ агроном!
Земля
не хочет более
терпеть

плохой уход,-
готовься,
комсомолия,
в передовой поход.
Кончай
с деревней серенькой,
вставай,
который сер!
Вперегонки
с Америкой
иди, СССР!
Добьемся урожая мы -
втройне,
земля,
рожай!
Пожалте,
уважаемый
товарищ урожай!

ДУША ОБЩЕСТВА

Из года в год

легенда тянется -

легенда

тянется

из века в век:

что человек, мол,

который пьяница,-

разувлекательнейший человек.

Сквозь призму водки,

мол,

все - красотки...

Любая

гадина -

распривлекательна.

У машины

общества

поразвинтились гайки -

люди

лижут

довоенного лютей.

Сколько

заменяли

водочные спайки

все

другие

способы

общения людей?!

Если

муж

жену

истаскивает за волосы -

понимай, мол,

я

в семействе барин!-

это значит,

водки налил

этот

милый,

увлекательнейший парень.

Если

парень

в сногшибательнейшем раже

доставляет

скорой помощи

калек -

ясно мне,

что пивом взбудоражен

ЭТОТ

милый,

увлекательнейший человек.

Если

парень,

запустивши лапу в кассу,

удостаивает

сам себя

и премий и наград -

значит,

был привержен

не к воде и квасу

ЭТОТ

милый,

увлекательнейший казнокрад.

И преступления

всех систем,

и хрип хулигана,

и пятна быта

сегодня

измеришь

только тем -

сколько

пива

и водки напито.

Про пьяниц

много

пропето разного,-

из пьяных пеней

запомни только:

беги от ада

от заразного,

тащи

из яда

алкоголика.

1929

КАНДИДАТ ИЗ ПАРТИИ

Сколько их?

Числа им нету.

Пяля блузы,

пяля френчи,

завели по кабинету

и несут

повинность эту

сквозь заученные речи.

Весь

в партийных причиндалах,

ноздри вздернул -

крыши выше...

Есть бумажки -

прочитал их,

нет бумажек -

сам напишет.

Все

у этаких

в порядке,

не язык,

а маслобой...

Служит

и играет в прятки

с партией,

с самим собой.

С классом связь?

Какой уж класс там!

Классу он -

одна помеха.

Стал

стотысячным балластом.

Ни пройти с ним,

ни проехать.

Вышел

из бойцов

с годами

в лакированные душки...

День пройдет -

знакомой даме

хвост

накрутит по вертушке.

Освободиться бы

от ихней братии,

удобней будет

и им

и партии.

1929

ВОНЗАЙ САМОКРИТИКУ!

Наш труд

сверкает на “Гиганте”,

сухую степь

хлебами радуя.

Наш труд

блестит.

Куда ни гляньте,
встает
фабричную оградою.

Но от пятна
и солнца блеск
не смог
застраховаться,-

то ляпнет
нам

пятно

Смоленск,

то ляпнут
астраханцы.

Болезнь такая
глубока,

не жди,
газеты пока

статейным
гноем вытекут,-

ножом хирурга
в бока

вонзай самокритику!

Не на год,

не для видика

такая

критика.

Не нам

критиковать крича

для спорта

горластого,

нет,

наша критика -

рычаг

и жизни

и хозяйства.

Страна Советов,

чисть себя -

нутро и тело,

чтоб, чистотой

своей

блестя,

республика глядела.

Чтоб не шатать

левой,

правей

домину коммунизма,

шатающихся

проверь

своим

рабочим низом.

Где дурь,

где белых западня,

где зава

окажет родня -

вытраивай

от дня до дня

то ласкою,

то плетью,

чтоб быстро бы

страну

поднять,

идя

по пятилетью.

Нам

критика

из года в год

нужна,

запомните,

как человеку -

кислород,

как чистый воздух -

комнате.

1929

НА ЗАПАДЕ ВСЕ СПОКОЙНО

Как совесть голубя,

чист асфальт.

Как лысина банкира,

тротуара плиты

(после того,

как трупы

на грузовозы взвалют

и кровь отмоют

от плит политых).

В бульварах

буржуеньши,

под нянин сказ,

медведям

игрушечным

глядят плюшки

(после того,

как баллоны

заполнил газ

и в полночь

прогрохали

к Польше

пушки).

Миротворцы

сияют

цилиндровым гляncем,

мозолят язык,

состязаясь с мечом

(после того,

как посланы
винтовки афганцам,
а бомбы -
басмачам).

Сидят
по кафе
гусары спешенные.

Пехота

развлекается
в штатской лени.

А под этой
идиллией -
взлихораденно-бешеные

военные

приготовления.

Кровавых капель

пунктирный путь

ползет по земле,-

недаром круга!

Кто-нибудь

кого-нибудь
подстреливает
из-за угла.

Целят -
в сердце.

В самую точку.

Одно
стрельбы командирам
надо -

бунтовщиков
смирив в одиночку,

погнать
на бойню
баранье стадо.

Сегодня
кровишка
мелких стычек,

а завтра
в толпы
танки тыча,

кровищи

вкус

война поймет,-

пойдет

хлестать

с бронированных птичек

железа

и газа

кровавый помет.

Смотри,

выступает

из близких лет,

костьми постукивает

лошадь-краса.

На ней

войны

пожелтый скелет,

и сталью

синеет

смерти коса.

Мы,

излюбленное

пушечное лакомство,

мы,

оптовые потребители

костылей

и протез,

мы

выйдем на улицу,

мы

1 августа

аж к небу

гвоздями

прибьем протест.

Долой

политику

пороховых бочек!

Довольно

дома

пугливо щуплиться!

От первой республики

крестьян и рабочих

отбросим

войны

штыкастые щупальцы.

Мы

требуем мира.

Но если

тронете,

мы

в роты сожмемся,

сжавши рот.

Зачинщики бойни

увидят

на фронте

один

восставший

рабочий фронт.

1929

ПАРИЖАНКА

Вы себе представляете

парижских женщин

с шеей разжемчуженной,
разбриллиантенной
рукой...

Бросьте представлять себе!

Жизнь -

жестче -

у моей парижанки

вид другой.

Не знаю, право,

молода

или стара она,

до желтизны

отшлифованная

в лощеном хамье.

Служит

она

в уборной ресторана -

маленького ресторана -

Гранд-Шомьер.

Выпившим бургундского

может захотеться

для облегчения

пойти пройтись.

Дело мадмуазель

подавать полотенце,

она

в этом деле

просто артист.

Пока

у трюмо

разглядываешь прыщик,

она,

разулыбив

облупленный рот,

пудрой подпудрит,

духами попрыщует,

подаст пипифакс

и лужу подотрет.

Раба чревоугодий

торчит без солнца,

в клозетной шахте

по суткам

клопея,
за пятьдесят сантимов!
(По курсу червонца
с мужчины
около
четырёх копеек.)
Под умывальником
ладони омывая,
дыша
диковиной
парфюмерных зелий,
над мадмуазелью
недоумевая,
хочу
сказать
мадмуазели:
- Мадмуазель,
ваш вид,
извините,
жалок.
На уборную молодость

губить не жалко вам?

Или

мне

наврали про парижанок,

или

вы, мадмуазель,

не парижанка.

Выглядите вы

туберкулезно

и вяло.

Чулки шерстяные...

Почему не шелка?

Почему

не шлют вам

пармских фиалок

благородные мусью

от полного кошелька? -

Мадмуазель молчала,

грохот наваливал

на трактир,

на потолок,

на нас.

Это,

кружа

веселье карнавалово,

весь

в парижанках

гудел Монпарнас.

Простите, пожалуйста,

за стих раскрежещенный

и

за описанные

вонючие лужи,

но очень

трудно

в Париже

женщине,

если

женщина

не продается,

а служит.

1929

КРАСАВИЦЫ

(Раздумье на открытии Grand Opera*)

В смокинг вштопорен,

побрит что надо.

По гранд

по опере

гуляю грандом.

Смотрю

в антракте -

красавка на красавице.

Размяк характер -

все мне

нравится.

Талии -

кубки.

Ногти -

в глянце.

Крашенные губки

розой убиганятся.

Ретушь -

у глаза.

Оттеняет синь его.

Спины

из газа

цвета лососиньего.

Упадая

с высоты,

пол

метут

шлейфы.

От такой

красоты

сторонитесь, рефы.

Повернет -

в брильянтах уши.

Пошевелится шаля -

на грудинке

ряд жемчужин

обнажают

шиншиля.

Платье -

пухом.

Не дыши.

Аж на старом

на морже

только фай

да крепдешин,

только

облако жоржет.

Брошки - блещут...

на тебе!-

с платья

с полуголого.

Эх,

к такому платью бы

да еще бы...

голову.

* Большого оперного театра (фр.)

1929

СТИХИ О СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ

Я волком бы

выгрыз

бюрократизм.

К мандатам

почтения нету.

К любым

чертям с матерями

катись

любая бумажка.

Но эту...

По длинному фронту

купе

и кают

чиновник

учтивый движется.

Сдают паспорта,

и я

сдаю

мою

пурпурную книжицу.

К одним паспортам -

улыбка у рта.

К другим -

отношение плевое.

С почтеньем

берут, например,

паспорта

с двухспальным

английским левою.

Глазами

доброго дядю выев,

не переставая

кланяться,

берут,

как будто берут чаевые,

паспорт

американца.

На польский -

глядят,

как в афишу коза.

На польский -

выпяливают глаза

в тугой

полицейской слоновости -

откуда, мол,

и что это за

географические новости?

И не повернув

головы кочан

и чувств

никаких

не изведав,

берут,

не моргнув,

паспорта датчан

и разных

прочих

шведов.

И вдруг,

как будто

ожогом,

рот

скривило

господину.

Это

господин чиновник

берет

мою

краснокожую паспортину.

Берет -

как бомбу,

берет -

как ежа,

как бритву

обоюдоострую,

берет,

как гремучую

в 20 жал

змею

двухметроворостую.

Моргнул

многозначаще

глаз носильщика,

хоть вещи

снесет задаром вам.

Жандарм

вопросительно

смотрит на сыщика,

сыщик

на жандарма.

С каким наслаждением

жандармской кастой

я был бы

исхлестан и распят

за то,

что в руках у меня

молоткастый,

серпастый

советский паспорт.

Я волком бы

выгрыз

бюрократизм.

К мандатам

почтения нету.

К любым

чертям с матерями

катись

любая бумажка.

Но эту...

Я

достаю

из широких штанин

дубликатом

бесценного груза.

Читайте,

завидуйте,

я -

гражданин

Советского Союза.

1929

АМЕРИКАНЦЫ УДИВЛЯЮТСЯ

Обмерев,

с далекого берега

СССР

глазами выев,

привстав на цыпочки,

смотрит Америка,

не мигая,

в очки роговые.

Что это за люди

породы редкой

копшатся стройкой

там,

поодаль?

Пофантазировали

с какой-то пятилеткой...

А теперь

выполняют

в 4 года!

К таким

не подойдешь

с американской меркою.

Их не соблазняют

ни долларом,

ни гривною,

и они

во всю

человечью энергию

круглую

неделю

дуют в непрерывную.

Что это за люди?

Какая закалка!

Кто их

так

в работу вклинил?

Их

не гонит

никакая палка -

а они

сжимаются

в стальной дисциплине!

Мистеры,

у вас

практикуется исстари

деньгой

окупать

строительный норв.

Вы

не поймете,

пухлые мистеры,

корни

рвения

наших коммунаров.

Буржуи,

дивитесь

коммунистическому берегу -

на работе,

в аэроплане,

в вагоне

вашу

быстроногую

знаменитую Америку

мы

и догоним

и перегоним.

1929

ПРИМЕР, НЕ ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИЯ

Тем, кто поговорили и бросили

Все -

в ораторском таланте.

Пьянке -

смерть без колебания.

Это

заседает

анти-

алкогольная компания.

Кулаком

наотмашь

в грудь

бьют

себя

часами кряду.

“Чтобы я?

да как-нибудь?

да выпил бы

такого яду?!”

Пиво -

сгинь,

и водка сгинь!

Будет

сей порок

излечен.

Уменьшает

он

мозги,

увеличивая

печень.

Обсудив

и вглубь

и вдоль,

вырешили

все

до толики:

де -

ужасен алкоголь,

и -

ужасны алкоголики.

Испершив

речами

глотки,

сделали

из прений

вывод,

что ужасный

вред

от водки

и ужасный

вред от пива...

Успокоившись на том,

выпив

чаю

10 порций,

бодро

вылезли

гуртом

яростные

водкоборцы.

Фонарей

горят

шары,

в галдеже

кабачный улей,

и для тени

от жары

водкоборцы

завернули...

Алкоголики, -

воспряньте!

Неуместна

ваша паника!

Гляньте -

пиво хлещет

анти -

алкогольная компанийка.

1929

ПТИЧКА БОЖИЯ

Он вошел,

склонясь учтиво.

Руку жму.

- Товарищ -

сядьте!

Что вам дать?

Автограф?

Чтиво!”

- Нет.

Мерси вас.

Я -

писатель.

- Вы?

Писатель?

Извините.

Думал -

вы пижон.

А вы...

Что ж,

прочтите,

зазвоните

грозым

маршем

боевым.

Вихрь идей

у вас,

должно быть.

Новостей

у вас

вагон.

Что ж,

пожалте в уха в оба.

Рад товарищу.-

А он:

- Я писатель.

Не прозаик.

Нет.

Я с музами в связи.-

Слог

изыскан, как борзая.

Сконапель

ля поэзи.

На затылок

нежным жестом

он

кудрей

закинул шелк,

стал

барашком златошерстым

и заблеял,

и пошел.

Что луна, мол,
над долиной,

мчит

ручей, мол,
по ущелью.

Тинтидликал

мандиной,
дундудел виолончелью.

Нимб

обвил
волосьев копны.

Лоб

горел от благородства.

Я терпел,

терпел
и лопнул

и ударил

лапой
об стол.

- Попрошу вас

покороче.

Бросьте вы

поэта корчить!

Посмотрю

с лица ли,

сзади ль,

вы тюльпан,

а не писатель.

Вы,

над облаками рея,

птица

в человеческий рост.

Вы, мусье,

из канареек,

чижик вы, мусье,

и дрозд.

В испытанье

битв

и бед

с вами,

што ли,

мы

полезем?

В наше время

тот -

поэт.

тот -

писатель,

ктолезен.

Уберите этот торт!

Стих даешь -

хлебов подвозу.

В наши дни

писатель тот,

кто напишет

марш

и лозунг!

1929

СТИХИ О ФОМЕ

Мы строим коммуны,

и жизнь

сама

трубит

наступающей эре.

Но между нами

ходит

Фома,

и он

ни во что не верит.

Наставь

ему

достижений любых

на каждый

вкус

и вид,

он лишь

тебе

половину губы

на достиженья -

скривит.

Идем

на завод
отстроенный

мы -

смирись

перед ликом

факта.

Но скептик

смотрит

глазами Фомы:

- Нет, что-то

не верится как-то.-

Покажешь

Фомам

вознесенный дом

и ткнешь их

и в окна,

и в двери.

Ничем

не расцветятся

лица у Фом.

Взглянут -

и вздохнут:

”Не верим!”

Послушайте,

вы,

товарищ Фома!

У вас

повадка плохая.

Не надо

очень

большого ума,

чтоб все

отвергать

и хаять.

И толк

от похвал,

разумеется, мал.

Но слушай,

Фомина шатя!

Уж мы

обойдемся

без ваших похвал -

ВЫ ТОЛЬКО

труду не мешайте.

1929

Я СЧАСТЛИВ!

Граждане,

у меня

огромная радость.

Разулыбьте

сочувственные лица.

Мне

обязательно

поделиться надо,

стихами

хотя бы

поделиться,

Я

сегодня

дышу как слон,

походка

моя

легка,

и ночь

пронеслась,

как чудесный сон,

без единого

кашля и плевка.

Неизмеримо

выросли

удовольствий дозы.

Дни осени -

баней воняют,

а мне

цветут,

извините,-

розы,

и я их,

представьте,

обоняю.

И мысли

и рифмы
покрасивели
и особенные,
аж вытаращит
глаза
редактор.

Стал вынослив
и работоспособен,
как лошадь
или даже -
трактор.

Бюджет
и желудок
абсолютно превосходен,
укреплен
и приведен в равновесие.

Стопроцентная
экономия
на основном расходе -
и поздоровел
и прибавил в весе я.

Как будто

на язык

за кусом кус

кладут

воздушнейшие торта -

такой

установился

феерический вкус

в благоуханных

апартаментах

рта.

Голова

снаружи

всегда чиста,

а теперь

чиста и изнутри.

В день

придумывает

не меньше листа,

хоть Толстому

ноздрю утри.

Женщины

окуружили,

платья испестря,

все

спрашивают

имя и отчество,

я стал

определенный

весельчак и остряк -

ну просто -

душа общества.

Я

порозовел

и пополнел в лице,

забыл

и гриппы

и кровать.

Граждане,

вас

интересует рецепт?

Открыть?

или...

не открывать?

Граждане,

вы

утомились от жданья,

готовы

корить и крыть.

Не волнуйтесь,

сообщаю:

граждане -

я

сегодня -

бросил курить.

1929

РАССКАЗ ХРЕНОВА О КУЗНЕЦКСТРОЕ

И О ЛЮДЯХ КУЗНЕЦКА

К этому месту будет подвезено в

пятилетку 1 000 090 вагонов

строительных материалов. Здесь будет
гигант металлургии, угольный гигант и
город в сотни тысяч людей.

Из разговора.

По небу

тучи бегают,

дождями

сумрак сжат,

под старую

телегою

рабочие лежат.

И слышит

шепот гордый

вода

и под

и над:

“Через четыре

года

здесь

будет

город-сад!”

Темно свинцовоночие,

и дождик

толст, как жгут,

сидят

в грязи

рабочие,

сидят,

лучину жгут.

Сливеют

губы

с холода,

но губы

шепчут в лад:

“Через четыре

года

здесь

будет

город-сад!”

Свела

промозглость

корчею -
неважный
мокр
уют,
сидят
впотьмах
рабочие,
подмокший
хлеб
жуют.
Но шепот
громче голода -
он кроет
капель
спад:
“Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!
Здесь

взрывы закудахтают

в разгон

медвежьих банд,

и взроет

недра

шахтою

стоугольный

”Гигант”.

Здесь

встанут

стройки

стенами.

Гудками,

пар,

сипи.

Мы

в сотню солнц

мартенами

воспламеним

Сибирь.

Здесь дом

дадут
хороший нам
и ситный
без пайка,
аж за Байкал
отброшенная
попятится тайга”.

Рос

шепоток рабочего
над темью
тучных стад,
а дальше
неразборчиво,
лишь слышно -
”город-сад”.

Я знаю -

город
будет,
я знаю -
саду
цвествь,

когда

такие люди

в стране

в советской

есть!

1929

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Огромные вопросы,

огромней слоних,

страна

решает

миллионнолобая.

А сбоку

ходят

индивидуумы,

а у них

мнение обо всем

особое.

Смотрите,

в ударных бригадах

Союз,

держат темп

и не ленятся,

но индивидум в ответ:

”А я

остаюсь

при моем,

особом мнении”.

Мы выполним

пятилетку,

мартены воспламеня,

не в пять годов,

а в меньше,

но индивидум

не верит:

”А у меня

имеется, мол,

особое мнение”.

В индустриализацию

льем заем,
а индивидум
сидит в томлении
и займа не покупает
и настаивает на своем
собственном,
особенном мнении.

Колхозим
хозяйства
бедняцких масс,
кулацкой
не спугнуты
злобою,
а индивидумы

шепчут:
”У нас
мнение
имеется
особое”.

Субботниками

бьет

рабочий мир

по неразгруженным

картофелям и поленьям,

а индивидуумы

нам

заявляют:

”Мы

посидим

с особым мнением”.

Не возражаю!

Консервируйте

собственный разум,

прикосновением

ничьим

не попортив,

но тех,

кто в работу

впрягся разом,-

не оттягивайте

в сторонку

и напротив.

Трясина

старья

для нас не годна -

ее

машиной

выжжем до дна.

Не втыкайте

в работу

клинья,-

и у нас

и у массы

и мысль одна

и одна

генеральная линия.

1929

ДАЕШЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ БАЗУ!

Пусть ропщут поэты,

слюною плеща,
губою
презрение вызмеив.
Я,
душу не снизив,
кричу о вещах,
обязательных при социализме.
“Мне, товарищи,
этажи не в этажи -
мне
удобства подай.
Мне, товарищи,
хочется жить
не хуже,
чем жили господа.
Я вам, товарищи,
не дрозд
и не синица,
мне
и без этого

делов массу.

Я, товарищи,

хочу возноситься,

как подобает

господствующему классу.

Я, товарищи,

из нищих вышел,

мне

надоело

в грязи побираться.

Мне бы, товарищи,

жить повыше,

у самых

солнечных

протуберанцев.

Мы, товарищи,

не лошади

и не дети -

скакать

на шестой,

поклажу взвалив?!

Словом,-

во-первых,

во-вторых,

и в-третьих,-

мне

подавайте лифт.

А вместо этого лифта

мне -

прыгать -

работа трехпотая!

Черным углем

на белой стене

выведено криво:

”Лифт

НЕ

работает”.

Вот так же

и многое

противно глазу.-

Примуса, например?!

Дорогу газу!

Поработав,

желаю

помыться сразу.

Бегай -

лифт-мошенник!

Словом,

давайте

материальную базу

для новых

социалистических отношений”.

Пусть ропщут поэты,

слюною плеща,

губою

презрение вымеив.

Я,

душу не снизив,

кричу о вещах,

обязательных

при социализме.

ЛЮБИТЕЛИ ЗАТРУДНЕНИЙ

Он любит шептаться,

хитер да тих,

во всех

городах и селеньицах:

“Тс-с, господа,

я знаю -

у них

какие-то затрудуеньица”.

В газету

хихикает,

над цифрой трунив:

“Переборщили,

замашинив денежки.

Тс-с, господа,

порадуйтесь -

у них

“какие-то

такие затрудненьишки”.

Усы

закручивает,

весел и лих:

“У них

заухудшился день еще.

Тс-с, господа,

подождем -

у них

теперь

огромные затрудненьища”.

Собрав

шептунов,

врунов

и вруних,

переговаривается

орава:

“Тс-с-с, господа,

говорят,

у них

затруднения.

Замечательно!

Браво!”

Затруднения одолеешь,

сбавляет тон,

переходит

от веселия

к грусти.

На перспективах

живо

наживается он -

он

своего не упустит.

Своего не упустит он,

но зато

у другого

выгрызет лишек,

не упустит

уоставиться

в сто задов

любой

из очередишек.

И вылезем лишь

из грязи

и тьмы -

он первый

придет, нахален,

и, выпятив грудь,

раззаявит:

”Мы

аж на тракторах -

пахали!”

Республика

одолеет

хозяйства несчастья,

догонит

наган

врага.

Счищай

с путей

завшивевших в мещанстве,

путающихся

у нас

в ногах!

1929

МАРШ УДАРНЫХ БРИГАД

Вперед

тракторами по целине!

Домны

коммуне

подступом!

Сегодня

бейся, революционер,

на баррикадах

производства.

Раздувай

коллективную

грудь-меха,

лозунг

мчи

по рабочим взводам.

От ударных бригад

к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам.

Вперед,
в египетскую
русскую темь,

как
гвозди,
вбивай
лампы!

Шаг держи!
Не теряй темп!

Перегнать
пятилетку
нам бы.

Распрабабкиной техники
скидывай хлам.

Днепр,
турбины
верти по заводьям.

От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов

к ударным заводам.

Вперед!

Коммуну
из времени
вод

не выловишь

золото-рыбкою.

Накручивай,

наворачивай ход

без праздников -

непрерывкою.

Трактор

туда,

где корпела соха,

хлеб

штурмуй

колхозным

походом.

От ударных бригад

к ударным цехам,

от цехов

к ударным заводам.

Вперед

беспрогульным

гигантским ходом!

Не взять нас

буржуевым гончим!

Вперед!

Пятилетку

в четыре года

выполним,

вымчим,

закончим.

Электричество

лей,

река-лиха!

Двигай фабрики

фырком зловодым.

От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам.

Энтузиазм,
разрастайся и длись
фабричным
сиянием радужным.

Сейчас
подымается социализм
живым,
настоящим,
правдошним.

Этот лозунг
неси
бряцаньем стиха,
размалюй
плакатным разводом.

От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов -

к ударным заводам.

1930

ЛЕНИНЦЫ

Если

блокада

нас не сморила,

если

не сожрала

война горяча -

это потому,

что примером,

мерилом

было

слово

и мысль Ильича.

- Вперед

за республику

лавой атак!

На первый

военный клич!-

Так

велел

защищаться

Ильич.

Втрое,

каждый

станок и верстак,

работу

свою

увеличь!

Так

велел

работать

Ильич.

Наполним

нефтью

республики бак!

Уголь,

расти от добыч!

Так

работать

велел Ильич.

“Снижай себестоимость,

выведи брак!”-

гудков

вызывает

зыч,-

так

работать

звал Ильич.

Комбайном

на общую землю наляг.

Огнем

пустыри расфабричь!

Так

Советам

велел Ильич.

Сжимай экономией

каждый пятак.

Траты

учись стричь,-

так

хозяйничать

звал Ильич.

Огнями ламп

просверливай мрак,

республику

разэлектричь,-

так

велел

рассветиться

Ильич.

Религия - опиум,

религия - враг,

довольно

поповских притч,-

так

жить

велел Ильич.

Достань

бюрократа

под кипой бумаг,
рабочей

ярости

бич,-

так

бороться

велел Ильич.

Не береги

от критики

лак,

чин

в оправданье

не тычь,-

так

велел

держаться

Ильич.

“Слева”

не рви

коммунизма флаг,

справа

в унынье не хнычь,-

так

идти

наказал Ильич.

Намордник фашистам!

Довольно

собак

спускать

на рабочую “дичь”!

Так

велел

наступать Ильич.

Не хнычем,

а торжествуем

и чувствуем.

Ленин с нами,

бессмертен и величав,

по всей вселенной

ширится шествие -

мыслей,

слов

и дел Ильича.

1930

Во весь голос

Первое вступление в поэму

Уважаемые

товарищи потомки!

Роясь

в сегодняшнем

окаменевшем г.....,

наших дней изучая потемки,

вы,

возможно,

спросите и обо мне.

И, возможно, скажет

ваш ученый,

кря эрудицией

вопросов рой,

что жил-де такой
певец кипяченой
и ярый враг воды сырой.

Профессор,

снимите очки-велосипед!

Я сам расскажу

о времени

и о себе.

Я, ассенизатор

и водовоз,

революцией

мобилизованный и призванный,

ушел на фронт

из барских садоводств

поэзии -

бабы капризной.

Засадила садик мило,

дочка,

дача,

водь

и гладь -

сама садик я садила,

сама буду поливать.

Кто стихами льет из лейки,

кто кропит,

набравши в рот -

кудреватые Митрейки,

мудреватые Кудрейки -

кто их, к черту, разберет!

Нет на прорву карантина -

мандолинят из под стен:

“Тара-тина, тара-тина,

т-эн-н...”

Неважная честь,

чтоб из этаких роз

мои изваяния высились

по скверам,

где харкает туберкулез,

где б.... с хулиганом да сифилис.

И мне

агитпроп

в зубах навяз,

и мне бы строчить
романсы на вас -
доходней оно
и прелестней.

Но я

себя
смирал,
становясь

на горло
собственной песне.

Слушайте,
товарищи потомки,
агитатора,
горлана-главаря.

Заглуша

поэзии потоки,
я шагну
через лирические томики,
как живой
с живыми говоря.

Я к вам приду

в коммунистическое далеко

не так,

как песенно-есененный провитязь.

Мой стих дойдет

через хребты веков

и через головы

поэтов и правительств.

Мой стих дойдет,

но он дойдет не так, -

не как стрела

в амурно-лировой охоте.

не как доходит

к нумизмату стершийся пятак

и не как свет умерших звезд доходит.

Мой стих

трудом

громаду лет прорвет

и явится

весомо,

грубо,

зримо,

как в наши дни

вошел водопровод,

сработанный

еще рабами Рима.

В курганах книг,

похоронивших стих,

железки строк случайно обнаруживая,

вы

с уважением

ощупывайте их,

как старое,

но грозное оружие.

Я

ухо

словом

не привык ласкать;

ушку девическому

в завиточках волоска

с полупохабщины

не разалеться тронуту.

Парадом развернув

моих страниц войска,
я прохожу
по строчечному фронту.

Стихи стоят

свинцово-тяжело,
готовые и к смерти
и к бессмертной славе.

Поэмы замерли,

к жерлу прижав жерло
нацеленных
зияющих заглавий.

Оружия

любимейшего
род,
готовая
рвануться в гике,
застыла
кавалерия острот,
поднявши рифм
отточенные пики.

И все

поверх зубов вооруженные войска,
что двадцать лет в победах
пролетали,
до самого
последнего листка
я отдаю тебе,
планеты пролетарий.

Рабочего

громады класса враг -
он враг и мой,
отъявленный и давний.

Велели нам

идти
под красный флаг
года труда
и дни недоеданий.

Мы открывали

Маркса
каждый том,
как в доме

собственном

мы открываем ставни

но и без чтения

мы разбирались в том,

в каком идти,

в каком сражаться стане.

Мы

диалектику

учили не по Гегелю.

Бряцанием боев

она врывалась в стих,

когда

под пулями

от нас буржуи бегали,

как мы

когда-то

бегали от них.

Пускай

за гениями

безутешною вдовой

плетется слава

в похоронном марше -
умри, мой стих,
умри, как рядовой,
как безымянные
на штурмах мерли наши!

Мне наплевать
на бронзы многопудье,
мне наплевать
на мраморную слизь.

Сочтемся славою -
ведь мы свои же люди, -
пускай нам
общим памятником будет

Построенный
в боях
социализм.

Потомки,
словарей проверьте поплавки:
из Леты
выплывут
остатки слов таких,

как “проституция”,

”туберкулез”,

”блокада”.

Для вас,

которые

здоровы и ловки,

ПОЭТ

вылизывал

чахоткины плевки

шершавым языком плаката.

С хвостом годов

я становлюсь подобием

чудовищ

ископаемо-хвостатых.

Товарищ жизнь,

давай быстрее протопаем,

протопаем

по пятилетке

дней остаток.

Мне

и рубля

не накопили строчки,
краснодеревщики
не слали мебель на дом.
И кроме
свежевымытой сорочки,
скажу по совести,
мне ничего не надо.
Явившись
в Це Ка Ка
идущих
светлых лет,
над бандой
поэтических
рвачей и выжиг
я подыму,
как большевистский партбилет,
все сто томов
моих
партийных книжек.

Декабрь 1929г. - январь 1930 г.

Лозунги 1929-1930 годов

САНПЛАКАТ

1

Убирайте комнату,
чтоб она блестела.

В чистой комнате -
чистое тело.

2

Воды -
не бойся,
ежедневно мойся.

3

Зубы

чисть дважды,
каждое утро
и вечер каждый.

4

Курить -
бросим.
Яд в папиресе.

5

То, что брали
чужие рты,
в свой рот
не бери ты.

6

Ежедневно
обувь и платье

Чисть и очищай

от грязи и пятен.

7

Культурная привычка,

прибрати ее -

Ходи еженедельно в баню

и меняй белье.

8

Долой рукопожатия!

Без рукопожатий

встречайте друг друга

и провожайте.

9

Проветрите комнаты,

форточки открывайте

перед тем

как лечь

в свои кровати.

10

Не пейте

спиртных напитков.

Пьющему - яд,

окружающим - пытка.

11

Затхлым воздухом -

жизнь режем.

Товарищи,

отдыхайте

на воздухе свежем.

12

Товарищи люди,
на пол не плюйте.

13

Не вытирайся
полотенцем чужим,
могли
и больные
пользоваться им.

14

Запомните -
надо спать
в проветренной комнате.

15

Будь аккуратен,
забудь лень,

чисть зубы
каждый день.

16

На улице были?
Одежду и обувь
очистьте от пыли.

17

Мойте окна,
запомните это,
Окна - источник
жизни и света.

18

Товарищи,
мылом и водой
мойте руки

перед едой.

19

Запомните вы,

запомни ты -

пищу приняв,

полощите рты.

20

Грязь

в желудок

идет с едой,

мойте

посуду

горячей водой.

21

Фрукты

и овощи
перед
едой
мойте
горячей водой.

22

Нельзя человека
закупорить в ящик,
жилище проветривай
лучше и чаще.

23

Вытрите ноги!!!
забыли разве,-
несете с улицы
разную грязь вы.

24

Хоть раз в неделю,

придя домой,-

горячей водой

полы помой.

25

Болезнь и грязь

проникают всюду.

Держи в чистоте

свою посуду.

26

Во фруктах и овощах

питательности масса.

Ешьте больше зелени

и меньше мяса.

27

Лишних вещей

не держи в жилище -
станет сразу
просторней и чище.

28

Чадят примуса,-

хозяйки, запомните:
нельзя
обед
готовить
в комнате.

29

Держите чище
свое жилище.

30

Каждое жилище

каждый житель

помещение

в сохранности держите.

31

Товарищ!

да приучись ты

держатъ жилище

опрятным и чистым.

32

С одежды грязь

доставляется на дом.

Одетому лежать

на кровати не надо.

33

Хозяйка,

помни о правиле важном:

Мети жилище

способом влажным.

34

Раз в неделю,

никак не реже,

белье постельное

меняй на свежее.

35

Не стирайте в комнате,

могут от сырости

грибы и мокрицы

в комнате вырасти.

[1929]

Лозунги по безопасности труда

1

Товарищи,

бросьте

раскидывать гвозди!

Гвозди

многим

попортили ноги.

2

Не оставляй

на лестнице

инструменты и вещи.

Падают

и ранят

молотки и клещи.

3

Работай

только

на прочной лестнице.

Убьешься,

если

лестница треснет.

4

Месим руками

сталь, а не тесто,

храни

в порядке

рабочее место.

Нужную вещь

в беспорядке ищешь,

никак не найдешь

и ранишь ручища.

5

Пуская машину,
для безопасности
надо
предупредить товарища,
работающего рядом.

6

На работе
волосы
прячьте лучше:
от распущенных волос -
несчастный случай.

7

Электрический ток -
рабочего настиг.

Как

от смерти

рабочего спасти?

Немедленно

еще до прихода врача

надо

искусственное дыхание начать.

8

Нанесем

безалаберности удар,

образумим

побахвалиться охочих.

Дело

безопасности труда -

дело

самих рабочих.

[1929]

Лозунги для журнала “Даешь”

1

Кузница коммунизма,

раздувай меха!

Множьтесь,

энтузиастов

трудовые взводы:

за ударными бригадами -

ударные цеха,

за ударными цехами -

ударные заводы!

2

Нефть

не добудешь

из воздуха и ветра.

Умей

сочетать

практику и разум.

Пролетарий,

да ешь

земным недрам

новейшую технику

и социалистический энтузиазм.

З

Верхоглядство -

брось!

” Да ешь “

зовет

знать

насквозь

свой

завод!

Кто стоит за станком?

Как работает рабочий?

Чем живут рабочие?

Какие интересы у рабочих?

4

Профессорская братия

вроде Ольденбургов

князьям

служить

и сегодня рада.

То,

что годилось

для царских Петербургов,

мы вырвем

с корнем

из красных Ленинградов.

5

Чтоб фронт отстоять,

белобанды гоня,

пролетариат

в двадцатом

сел на коня.

Чтоб видеть коммуны,
растущую в быль,
садись в двадцать девятом
на трактор
и автомобиль.

[1929]

Лозунги “Трудовая дисциплина” и “Агитационно-производственные”

1

Из-за неполадок на заводе
несознательный рабочий
драку заводит.

Долой
с предприятий
кулачные бои!

Суд разберет
обиды твои.

2

Притеснения на заводе
и беспорядок всякий
выясняй в месткоме,
а не заводи драки.

3

Опытные рабочие,
не издевайтесь
над молодыми.
Молодого рабочего
обучим и подыдем.

4

Долой
безобразников
по женской линии.
Парней-жеребцов

зажмем в дисциплине.

5

Антисемиту

не место у нас -

все должны

работой сравняться.

У нас

один рабочий класс

и нет

никаких наций.

6

Хорошего спеца

производство заботит.

Товарищ

спецу

помоги в работе.

7

Надо

квалификацию

поднять рабочему.

Каждый спец

обязан помочь ему.

8

Не спи на работе!

Работник этакий

может продряхнуть

все пятилетки.

9

Долой того,

кто на заводе

частную мастерскую

себе заводит.

10

Заводы - наши.

Долой кражи!

У наших заводов

встанем на страже.

11

Болтливость -

растрата

рабочих часов!

В рабочее время -

язык на засов!

12

Прогульщика-богомольца

выгони вон!

Не меняй гудок

на колокольный звон!

13

Долой пьянчуг!

С пьянчугой с таким
перержавеют
и станут станки.

14

В маленьком стакане,

в этом вот,
может утонуть

огромный завод.

Из рабочей гущи

выгоним пьющих.

15

Разгильдяев

с производства гони.

Наши машины

портят они.

16

Чтоб работа шла

продуктивно и гладко,

выполняй правила

внутреннего распорядка.

17

Перед машиной

храбриться нечего -

следи

за безопасностью

труда человеческого.

18

В общей работе

к дисциплине привыкни.

Симулянта

разоблачи

и выкинь.

19

Не опаздывай

ни на минуту.

Злостных

вон!

Минуты сложатся -

убытку миллион.

20

Долой хулиганов!

Один безобразник

портит всем

и работу

и праздник.

21

Непорядки

надо

разбирать по праву,

долой с предприятий

кулачную расправу.

22

Каждый

должен

помочь стараться

техническому персоналу

и администрации.

23

Не издевайся на заводе

над тем, кто слаб,
Оберегайте слабого
от хулиганских лап.

24

Вызов за вызовом,
по заводам лети!
Вступай в соревнование,
за коллективом коллек-
тив!

Встают заводы,
сильны и стройны.

Рабочий океан
всколыхнулся низом.

Пятилетка -
это рост

благосостояния страны.

Это пять километров
по пути в коммунизм.

25

Хулиганство на производстве

наносит удар

всей дисциплине

нашего труда.

26

Больше дела!

Меньше фраз

+++